Момыш-улы
Бауржан

Момыш-улы Б. **Наша семья**. / Изд. 3-е, доп. — Алма-Ата: Казгослитиздат, 1962. — Тираж 60.000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

Биографическая справка

Наша семья

Биографическая справка

Имя Баурджана Момыш-улы известно широкому кругу читателей как у нас, так и за рубежом по документальной повести А. Бека «Волоколамское шоссе». Он — главный герой и фактический соавтор этой повести. Читатель, безусловно, запомнил колоритный, яркий образ советского офицера, от лица которого ведется рассказ в «Волоколамском шоссе».

Баурджан Момыш-улы родился в 1910 году в ауле Куль-бастау, Джувалинского района, Джамбулской области, Казахской ССР, в семье скотовода из казахского рода Дулат. До 13 лет он рос в своем родном ауле, затем воспитывался в советских интернатах.

После окончания средней школы Баурджан едет учительствовать в один из отдаленных районов кочевья рода Тама и Тараkты — в Бетпак-Дале (буквально — Проклятая степь). В годы коллективизации он работает в советских учреждениях.

В 1932 году Момыш-улы призван на действительную службу. В армии он овладевает искусством снайпера, получает начальное военное образование. Уволившись из рядов армии, учится и работает в системе Промышленного банка.

С самого начала Великой Отечественной войны и до ее окончания Баурджан Момыш-улы — на фронте:

После войны, окончив Высшую военную академию Генерального штаба Советской Армии, Момыш-улы занимается военно-педагогической работой в одной из военных академий, ведя курс оперативного искусства.

В 1956 году, по состоянию здоровья, он увольняется из рядов Советской Армии в запас и посвящает себя литературной деятельности. К литературному труду он готовил себя в процессе всей своей сознательной жизни. В часы, свободные от службы, он вел дневники, делал зарисовки, писал рассказы, статьи и стихи. Писал по-русски и по-казахски. [496]

За последние годы Баурджан Момыш-улы написал и опубликовал ряд произведений: «Наша семья», «История одной ночи», сборник военных рассказов «Облик воина», «За нами Москва».

Книга «За нами Москва» является тематическим продолжением «Волокаламского шоссе». Здесь нет вымышленных событий, нет вымышленных героев. Это записки человека, который рассказывает о том, что происходило на его глазах и с ним самим.

Автор не скрывает жизненной правды, порой горькой, тяжелой. Но это не заслоняет его светлой веры в советского человека, веры в победу, которая не покидала наших бойцов и офицеров в трудные минуты.

По замыслу автора, «За нами Москва» — трилогия. Ее тема — первая становления советского воина. В данном издании помещена первая часть трилогии.

Наша семья

Вере Павловне Строевой, чьи критические замечания

и

добрые советы помогли мне больше, чем она подозревает.

Отец мой Момышалы, по аульному — Момыш, родился четвертым ребенком от деда моего Имаша, высокого, горбоносого, кряжистого старика, который умер девяноста двух лет в тысяча девятьсот одиннадцатом году. Бабушка моя Кызтумас. Под старость прозвали ее «Сары Кемпир» — «Белой бабушкой». Говорят, в молодости она была на редкость красивой и белокожей. Такие казашки в кочевьях округа встречаются не часто. Как она сказывала: «Сыновья пошли в отца — черные, как сажа, а дочерям передалась моя белизна и красота». Бабушка не позволяла своим сыновьям жениться на некрасивых, по ее мнению, смуглых казашках и ценила белизну кожи. Моего отца она продержала до тридцати лет в холостых, открыто заявляя ему:

— Тебе, черному уроду, я молю бога прислать невесту из райских красавиц, чтобы внуков от тебя я могла целовать без брезгливости к твоей черноте.

Однажды моего отца, джигита, встретившегося в айтысе ***(состязание двух певцов (поэтов-импровизаторов)*** с одной смуглой девушкой, бабушка на глазах у всех прогнала из юрты, гневно сказав, что она не позволит «саже мазаться сажей».

Отец повиновался воле бабушки, хотя и не разделял ее немилости к смуглым.

В добрый час, в хорошем настроении, бабушка была ласкова со своими взрослыми детьми, уважала ум и способности моего отца и с гордостью подчеркивала: [7]

— Этот уродушка, слава богу, хоть ум от меня унаследовал. Этим я утешена судьбой».

Если она у нас, у внуков, обнаруживала какой-либо недостаток во внешности, то, как гроза, гневно обрушивалась на наших родителей: «Зачем мне такое дитя принесли?» Поэтому родители нас не пускали к бабушке, пока не вымоют и не оденут нас как надо.

Мой отец женился тридцати трех лет на моей матери Разин, дочери Абдырахмана из рода Байтана. Мать я не помню. Она умерла, когда мне было около трех лет от роду. Все мои представления о матери в основном сложились по рассказам бабушки и отца.

Бабушка до самой смерти печалилась и горевала о моей матери, каждую осень водила нас к ее могиле, зажигала сальные свечи, заставляла меня и моих сестер на коленях произносить слова молитвы об упокоении ее души, а сама плакала и причитала, как будто бы разговаривала с покойной: «Голубушка, ангел мой, красавица Разия, сноха моя, я привела к тебе твоих птенцов...»

Мы при последнем слове пугались, думая, что действительно сию минуту встретимся с покойной мамой, и умоляли бабушку скорее идти домой.

Приходя домой, бабушка обычно справляла поминки по покойной снохе, и тогда весь наш дом был в трауре.

По рассказам бабушки, моя мать была красивой женщиной. Она с почтением относилась к старикам, к отцу моему и к окружающим.

Первой в нашей семье родилась сестра Убиш, за ней, через два года, последовала вторая — Убианна, третья была названа Салиманной, четвертая — Алиманной.

По рассказам отца, я родился зимой тысяча девятьсот десятого года, двадцать четвертого декабря по старому стилю. Отец в это время находился в городе Аулие-Ата ***(ныне Жамбыл).*** В ночь моего рождения дедушка во все концы послал гонцов, в том числе и к отцу.

Гонец Байток, войдя в дом, где жил отец, и увидев его, до того растерялся, что не мог произнести ни слова. Он только обнимал моего отца и плакал. Сестра отца и [8] все присутствующие встревожились, думая, что он принес весть о несчастье в семье, и стали тормошить гонца, умоляя сказать, что случилось.

«Тетя сына родила!» — произнес наконец Байток. Тревога сменилась радостью. Посыпались поздравления отцу, а Байтоку — подарки за радостную весть.

Вернувшись домой, отец застал в сборе всю нашу родню, съехавшуюся с поздравлениями и подарками. Собрался весь аул. Был устроен той ***(праздничный пир).***

После меня родился еще один сын, звали его Тэурджаном, умер он годовалым ребенком. Отец рассказывал, что когда моя мать была тяжела мною, он однажды видел сон... Старческий голос произнес непонятные ему четыре слова по-арабски: «Баур, Тэур, Майе, Манус», Проснувшись, он так объяснил «жорыды» — свой сон: создатель подарит ему четырех сыновей, и он назовет их этими именами. Мне выпала честь называться Баурджаном (Бевурджаном).

Шестимесячного, мать спеленала меня и пошла к дедушке, который занимался древонасаждением.

— Внук деду помогать пришел, — сказала мама. Дед бросил работу, подошел ко мне и вложил в руку тоненький прутик...

— На тебе курык, — баранов и коней будешь гонять.. Но на умильные жесты деда я не улыбнулся.

— Будет у него очень тяжелый характер, — произнес дед.

В честь первого свидания и разговора с дедом отец зарезал барана и пригласил дедушку со всей семьей. Все это рассказывается с такими подробностями, чтобы передать, с какой тоской и жаждой мои родители ждали сына, и чтобы была понятна искренность их радости, вызванной моим появлением. Ибо казах без сына считался бездетным, без наследника, сколько бы девочек он ни имел. Супругам, не произведшим на свет сына, даже приписывалась кличка Кубас, т. е. Сухая голова, считаются они «тукумсызами», что значит — люди без потомства. Наследники признавались лишь по мужской линии.

Бабушка рассказывала, что мать моя с достоинством перенесла какое-то нервное потрясение. Затем проболела [9] шесть месяцев и умерла в полном сознании, простившись со всеми.

Я помню ее в постели перед смертью, когда меня привели в последний раз с ней проститься. Крупное, продолговатое, белое с желтизной лицо с прямым носом и белыми зубами. Почему-то она в последний раз поцеловала меня в лоб. Меня тут же увели от нее.

До последнего вздоха она спокойно разговаривала с отцом, а когда ее уже стала покидать жизнь, она тихо промолвила отцу:

— Прощай... Будь счастлив с нашими детьми.

— С тем и ушла от нас она без слез, без истерики, — много раз вспоминал отец с тоской и грустью.

Через год отец устроил богатые поминки, по словам очевидцев, не похожие на обыкновенные поминки женщине.

Отец говорил, что пять лет после ее смерти он вычеркнул из своей жизни. Второй раз он женился, когда мне было восемь лет. Наша новая мать была далекой родственницей моей матери.

Когда я родился, отцу моему исполнилось пятьдесят три года. По рассказам бабушки, отец был самым шустрым и сообразительным из всех ее детей. Он настоял, чтобы его учили грамоте.

После школы отец до самой смерти занимался самообразованием. Он знал элементарную арифметику, читал газеты и с появлением в нашем крае русских начал изучать и русский алфавит. В молодости он научился столярно-плотничьему ремеслу, сапожничеству, ветеринарии. Видимо, долгая холостяцкая жизнь заставила приобрести кое-какие навыки и в ювелирном искусстве. Оно сделалось одним из средств общения с женщинами.

Отец состязался в айтысах, сочинял куплеты, но никогда наизусть не заучивал чужие стихи.

Когда он стал взрослым джигитом, дед ему позволил править хозяйством. Даже самолюбивая и властная бабушка ограничила свою власть у домашнего очага, отсылая всех по хозяйственным делам к Момышу. И ни один из вопросов вне дома — купля, продажа, взаимные подарки родственникам, устройство тоев и поминок, уплата [10] налогов, смена кочевья и прочее — не решался без него. Если в отсутствие отца возникали какие-либо споры, то их решение обязательно откладывалось до его возвращения. Аул назывался по его имени и при жизни де. душки.

__ Он сразу стал ведущим в семье... — рассказывала бабушка. — Высвободил нам руки от лишних хлопот по хозяйству.

На обязанности отца лежала забота о благополучии семьи. Жили мы небогато, но честно. Все работали, начиная с дедушки, никого не нанимали, ни к кому не нанимались.

В молодости отец носил прозвища Молда-бала — грамотный малый, и Уста-бала — мастеровой малый. Бабушка звала его Кара-катба, т. е. черный сухарь, как мумия.

Отец был ниже среднего роста, худощавый. У нею были открытый лоб, длинные брови и ресницы, большие круглые глаза.

... Ценя в нем силу и ловкость, бабушка дала ему вторую кличку — Тарамыс, жилистый.

Однажды я обиделся на бабушку за нелестное прозвище, данное отцу.

«Мать может называть своего сына, как она захочет...» — ласково заметил отец.

Помню, как мой дядя, младший брат отца, однажды резко оборвал бабушку: «Довольно, апа ***(мама)***!» Бабушка вспыхнула:

«Даже Момыш ни разу не повысил голоса на меня. Откуда ты взялся, щенок?! Вон с моих глаз!» — и прогнала его из юрты.

Тут же вошел отец. Бабушка обняла его, наговорила много ласковых слов, расцеловала и потребовала наказать дядю за непочтительность.

«Накажу, обязательно накажу, мама... — успокаивал ее отец. — Ты только разреши его не бить...» — уговаривал он бабушку.

Дядя ночевал в отаре. Отец утром дал ему поручение и куда-то отправил верхом на десять дней.

К возвращению дяди бабушка успела забыть его резкость и даже соскучилась по своему младшему сыну. [11]

* * *

В нашем степном крае, как говорили в народе, человека, умеющего водить пером по белой бумаге, трудно было найти. Муллы, фальшивые рекламаторы отдельных страниц Корана ***(священная книга),*** тоже не все владели этим искусством. Отец стал популярным человеком в волости. Новое русское начальство требовало оформления дел на бумаге и с неграмотных, а их было тогда у нас девятьсот девяносто девять человек на каждую тысячу, ввело вместо подписи прикладывание большого пальца правой руки, потребовало составлять именные списки для обложения налогами и другие бумаги.

Все, включая аульных и волостных старшин, стали обращаться к отцу для оформления различных дел, вроде составления списков, прошений, донесений. При уездном управителе имелись толмачи — переводчики. Они, по существу, и были властителями казахов в уезде, ибо решение любого вопроса больше зависело от того, как толмач переведет начальнику какую-либо просьбу или жалобу. По рассказам отца, толмачи, как правило, были взяточниками и жуликами высшей марки. Они брали взятки с того, кто подавал жалобу, и с того, на кого жаловались. «Твои слова буду говорить», — обещал толмач, получая мзду, а говорил, что ему вздумается.

В то время степные воротилы заигрывали с народом по-своему и свои действия, какими бы они ни были антинародными, объясняли новыми порядками, введенными русскими начальниками в степи. Русские чиновники были жупелом в их руках. Они проводили ту же политику, что и казахские баи: «разделяй и властвуй», вымогая взятки с каждой из межродовых группировок.

Казахи знают немало замечательных представителей русского народа: просветителей, исследователей, путешественников. Но в нашем степном округе ни один царский чиновник не был популярен среди казахов.

Тогда в три года один раз созывался уездный чрезвычайный съезд для выбора волостных управителей и биев — судей. Этому предшествовала долгая предвыборная борьба, сопровождаемая подкупом выборщиков, шантажом группировок и клеветой, чернящей соперника. [12]

Система выборов формально была установлена делегированием: один представитель от пятидесяти хозяйств. Этот делегат назывался пятидесятником. Фактически за весь род голосовал один заправила. Он торговал голосами всего рода. Да, по существу, голоса и не играли никакой роли на выборах, зачастую чиновник подделывал выборные документы и объявлял избранным того, кто давал ему большую взятку. От имени рода выборщику подавались прошения. Их, конечно, никто не читал. но подавать прошения считалось самым верным средством, так как степное начальство было недоступно для казахов.

Однажды на предвыборном сборище все грамотеи натолкнулись на непреодолимую преграду.

— Бумага остановилась!.. Бумага остановилась!... — тревожно шептались «депутаты». Все суетились и ломали головы.

Тогда один из претендентов на должность судьи, дядя моего отца по материнской линии Текебай-бий, заахал, что теперь бумага не успеет к уездному. Мой отец, двадцатичетырехлетний джигит, спросил:

— В чем дело? Что случилось?

— Никто не может написать половину — со вздохом ответил бий.

— Я напишу... — сказал отец.

— Где тебе, юнцу, написать такие сложные знаки? Ведь все муллы второй день не могут написать... — недоверчиво посмотрел на отца бий.

— А я знаю и напишу... — уверенно сказал отец.

Его повели в особую юрту, где сидели грустные муллы. Отец написал «1/2» и доказал, что это именно половина. Все были в восторге и, облегченно вздохнув, глядели на отца, как на спасителя.

Соперником Текебая в то время был сын Байузак-датка ***(Датка (дотха) — (узбекск.) — генеральский титул при Кокандском ханстве)*** — степного аристократа — пятидесятилетний Кабылбек. Он соперничал три с лишним года, осыпал Текебая клеветой, обвинял его в конокрадстве, устраивал разные провокации, чтобы только скомпрометировать своего соперника.

Старший сын Текебая, тридцатипятилетний Серкебай, после очередной клеветы сторонников Кабылбека взял [13] с собой десять джигитов и поехал в стан Кабылбека. Усевшись напротив него и сложив камчу ***(плетка)*** вдвое — знак вызова, — он оскорбил его самыми унизительными словами в присутствии всех сторонников. Кабылбек молча выслушал Серкебая и в ответ на возмущение своих сторонников сделал рукой знак молчать и не трогаться с места.

Серкебай, взбешенный еще пуще, осыпал Кабылбека бранными словами, потом вскочил на коня и поскакал обратно.

После отъезда Серкебая друзья Кабылбека с возмущением спрашивали:

— Почему вы не позволили расправиться с ним?

Кабылбек спокойно ответил:

— Ему уже, наверное, самому стало стыдно за свой поступок.

Когда Серкебай с гордостью доложил отцу о своей дерзости, хвастаясь тем, что «даже сам Кабылбек не посмел обмолвиться ни единым словом», отец строго посмотрел на него и произнес:

— Дурак!

Серкебай вылетел из юрты отца, пошел к себе и пролежал два дня голодным...

Подготовка к выборам шла своим чередом.

На третий день Серкебай явился к отцу и сказал:

— Я недостойно оскорбил Кабылбека: он старше меня на двадцать лет. Меня мучит стыд.

Текебай, собрав всех своих сторонников и взяв с собой подарки, поехал к Кабылбеку. Сторонники Кабылбека подумали, что Текебай ведет своих джигитов в бой, и приготовились к встрече противника. Остановившись у стана Кабылбека на расстоянии конного рывка, Текебай с Серкебаем отделились от джигитов. Кабылбек, решиз, что они едут для переговоров о начале боя, двинулся навстречу. Тогда Текебай слез с коня и подошел к Кабылбеку.

— Мой щенок позавчера облаял тебя, Кабылбек! Я приехал просить у тебя прощения за него. Простишь ли ты?

Растроганный Кабылбек соскочил с коня и упал к ногам Текебая. [14]

— О, благородный Текебай, я перед тобой более виноват, чем твой сын передо мной. Ты старше меня, а я слушал тебя в седле. Простишь ли ты мне, аксакал ***(буквально: белая борода, старейший, почтеннейший***), этот мой проступок, позорный для моего рода? Подарки оставь себе, возьми мой халат...

Он снял с себя халат, надел на Текебая и, обратившись к своим, громко сказал:

— На выборах голосуйте за Текебая. Я снимаю свое имя.

С тех пор враждующие роды стали дружными, и на последующих выборах родоначальники добровольно уступали должность бия друг другу. Против таких великодушных поступков были бессильны чиновники и толмачи. Чтобы не допустить вмешательства чиновников и толмачей во внутреннюю дипломатию рода, им давались взятки. Межродовые конфликты возникали часто, но за рамки Большого рода не выходили, и решение всегда принималось внутри рода.

Впоследствии моему отцу неоднократно предлагалась должность волостного писаря, то есть личного секретаря волостного управителя, но, не желая быть зависимым, отец отказывался, хотя и выполнял отдельные просьбы: оформлял какую-либо бумажку в порядке любезности и одолжения.

Двадцати восьми лет он был избран старшиной и на семнадцатом году работы добровольно уступил эту должность своему сверстнику Ерешу. Никаких других постов отец не занимал, оставаясь неофициальным «консультантом» по всем аульным делам. Своими справедливыми решениями аульных вопросов он прославился как Тура Момыш, то есть прямой, справедливый.

Он не был скупым, не был мелочным, не был завистливым. Успех любого радовал его искренне. До конца своей жизни отец любил щедро угощать, делать подарки, устраивать той, поминки. Он считал излишней заботой накапливать средства, без конца размножать скот. Помню, один раз мачеха меня упрекнула, что я допустил излишние траты. Я посмотрел вопросительно на отца.

«Деньги и существуют для того, чтобы их расходовать», — ответил он нам. [15]

Когда в наш аул на джайляу ***(летовка, место, куда казахи переселялись на лето)*** приезжали узбеки на своих большеколесных арбах торговать урюком, яблоками, вся аульная детвора шумно кидалась им навстречу, и узбек

дразнил нас, на ходу кидая несколько плодов. Те, что постарше, ловили их на лету, а малыши бросались на землю, стремясь первыми захватить яблоко. Тот, кому доставался помятый плод, бросался в сторону, остальные бежали за ним. Потом снова догоняли узбека, и снова начиналась свалка: каждому хотелось захватить яблоко. Около аула узбек останавливался и с блаженной улыбкой говорил:

— Ай, какой вкусный урюк! Ай, вкусный! Зовите, дети, своих родителей, пусть покупают. Дешево, дешево отдам...

Дети мчались к юртам и уговаривали родителей идти к узбеку. У многих не всегда бывали деньги. И вот тогда мой отец выстраивал взволнованных ребят и покупал им лакомства на деньги, полученные за свои искусные изделия. Узбек отвешивал по полфунту-фунту урюка, и дети по очереди получали его в подолы рубашонок. Женщины с грудными ребятами подходили и ставили своих малюток в строй. Те ничего не понимали, махали ручонками, плакали.

«Не плачь, не плачь, а то дед не купит тебе урюка», — уговаривали матери.

С базара отец возвращался с сумками, наполненными подарками для детворы, поэтому все дети в ауле звали его ласково дедом, а взрослые — Жаке. И сейчас еще один старик, вспоминая его, к ласковому имени Жаке добавляет «жарыктык», что означает «светлый».

В третью годовщину смерти деда отец устроил большой ас с призами для наездников, а также борцов и певцов, пригласив весь уезд. Так как подобные асы давно вышли из обычая казахов, мне приходится объяснить, что такое ас. У казахов существует закон, определяющий права и обязанности семьи, родственников и близких. Это не разновидность «усовершенствованного кодекса» о браке, семье и опеке. Нет, это веками сложившиеся традиции и обязанности, нормы поведения, основанные на человеческом достоинстве, морали и справедливости.

Отец обязан вырастить детей и дать им хорошее воспитание, женить сына, выдать замуж дочерей и поровну разделить между ними енши, то есть долю из своего состояния, когда они станут самостоятельными, захотят отделиться и жить своей юртой. Отец должен охранять честь семьи и рода. За дурные поступки детей отвечает отец, плохо воспитавший их. Поэтому проклятия за плохих детей и благодарность за хороших — удел родителей. «Проклятие твоему отцу и матери!», «Благодарность твоему отцу и матери твоей!» Так выражают казахи свой гнев в одном случае и благодарность в другом. Отсюда — уважение к предкам рода.

Преемственность, наследование всех благородных черт считались обязательными. «Он потомок хороших людей, у него кость хорошая», — говорят у нас. Вот почему в айтысах каждый старался показать светлую сторону своего предка. Быть достойным наследником — мечта казаха. Каждый казах свою семейную и родовую честь, как знамя, должен достойно пронести через жизнь.

Сыновья обязаны «беречь родных от плохого имени», то есть не делать ничего такого, что давало бы повод другим плохо говорить о них. Дети должны до конца жизни родителей относиться к ним с уважением, ни в коем случае не допускать грубостей и непочтительного обращения, уважать их старость, с почетом похоронить, поминать их во всех молитвах и устраивать асы — поминки. Если по какой-либо причине не устраивался ас, то это считалось невыполнением сыновнего долга и заслуживало порицания. «Отец и мать остались непомянутыми» — это рассматривалось как дурной поступок, неуважение к памяти родителей и осуждалось из поколения в поколение.

Ас полагалось устраивать щедро, не жалея для этого ничего. В его подготовке принимали участие вся семья, подрод.

Ас в честь старых, хорошо проживших свой век людей носил торжественный характер и справлялся как праздник в честь человека, ушедшего из жизни, исчерпав всю ее полноту, оставившего достойное наследие. Ас по молодым проводился в печали, как по ушедшим преждевременно из жизни.

Большие асы устраивались состоятельными людьми, [17] и о них извещали близкие и дальние аулы за два-три месяца, приглашалась вся округа. О предстоящем асе глашатаи-жирши в стихотворной форме объявляли на базарах. Они с похвалой говорили о покойном и достойных его сыновьях, объявляли место и порядок проведения аса, призывали акынов и саяпкеров — наездников готовиться к выступлениям, обещая им большие призы. Все готовились к такому асу, приводили в порядок одежду, сбрую, коней, выхаживали и тренировали скакунов: ведь на таких сборищах встречались люди со всей округи.

Середняки и бедняки ограничивались ботхы, то есть кашей для небольшого круга людей своего аула. Их состояние не позволяло более широкого размаха.

Мой отец собрал всех старшин нашего рода на совет по устройству большого аса по деду. Старейшины уговаривали воздержаться от широкого размаха, так как у отца, однолошадника, руки-де коротки для подобного жеста. Отец не согласился и велел всем готовиться к большому асу. Поехал в город к ростовщикам, занял много денег, нанял поваров, купил сто пудов риса, двадцать баранов, десять лошадей. Это происходило ранней осенью. На ас были приглашены также узбеки, которые в течение трех дней усиленно торговали дынями, арбузами, виноградом.

На джайляу было поставлено пятьдесят юрт и, по традиции, в радиусе десяти-пятнадцати километров аулы были обязаны принимать гостей на ночлег. Богатые приезжали со своими юртами и пригоняли с собой косяки кумысных кобылиц.

Вокруг аула, в степи, гарцевали всадники, а у юрт привязаны кони, хозяева которых сидели в юртах, слушая акынов за дастарханом и наслаждаясь кумысом.

Первый день был потрачен на сборы, второй — на развоз блюд. Третий на состязание борцов, джигитов и на байгу — скачки. Вечера заполнялись айтысами акынов. Всем отличившимся и занявшим первые места выдавались призы. Сырнайчи-киргизы целыми днями не слезали с коней, объезжая юрты, играя кюйи в честь почетного и главного в той юрте, получая в подарок деньги, халат, коня.

Бабушка этот ас вспоминала с гордостью! [18]

«Только мой Момыш-однолошадник мог поступить так выполняя сыновний долг перед отцом».

... Позже, будучи уже юношей — воспитанником советской школы, как-то я спросил отца:

— Как же ты, будучи однолошадным бедняком, смог устроить такой щедрый ас по дедушке? Ведь бабушка об этом асе всем прожужжала уши.

Отец усмехнулся, погладил усы и бороду не без удовольствия, подумал немного, исподлобья посмотрел на меня и, снова усмехнувшись, сказал:

— Раз ты мне задаешь такой вопрос — значит, ты созреваешь, сынок... Зрелому, как говорится, зрелый ответ. Я тебе скажу прямо, безо всяких обиняков. Ты, наверное, знаешь, почему в народе говорится: «Сырты кам-пиган — іші куыс» — «внешне сыт, а внутри пусто». Я не был таким бедняком. У нас было всегда внешне худо, а внутри жирно... Я имел немного денег — резерв нашей семьи. Их не хватило бы на ас деда твоего, я поехал в Аулие-Ату к ростовщикам (тогда среди узбекских и бухарских евреев было премножество ростовщиков) и взял у них денег на три месяца под поручительство одного богатого узбека. У нас тогда по всем ветвям было около восьмидесяти родственников. Я рассчитал: пусть каждый родственник, по нашему тогдашнему обычаю, приведет хоть по одной лошадке — восемьдесят лошадей... Тогда русские ввели Земельный банк, который давал ссуды под земельные угодья. Я пошел туда и по поручительству влиятельного русского человека заложил всю нашу землю и получил большую ссуду. Таким образом, я обзавелся большими деньгами... Устроил ас по своему отцу. Бабушка об этом и поныне не знает.

— А потом как вы рассчитались? — прервал я отца.

— А потом было очень просто рассчитаться с ростовщиками и с Земельным банком... Наши родственники привели не восемьдесят, а сто двадцать лошадей; коровы, телята и бараны не в счет. Ас прошел торжественно и достойно... Я все сборы продал на следующем же базаре и рассчитался и с ростовщиками и с Земельным банком. — Тут отец расхохотался и сказал: — С тех пор слыву в округе надежным плательщиком как перед ростовщиками, так и перед Земельным банком. — Отец снова погладил свою бороду, помрачнел и, с грустью посмотрев не в глаза, строго предупредил: — Но ты никогда, сынок, [19] не должен подражать мне. Долг — это кабала. Я, пытаясь сохранить чувство чести, чуть было не обесчестился...

Я отвлекся взрослыми разговорами, давайте-ка лучше вернемся к моим детским годам.

* * *

Помню: солнце заливает вершины гор, ласкающих глаз мягким блеском, нежным, бархатистым. «Там солнце... Там светло...» лепечу я, еще не успев после крепкого сна разомкнуть слипшиеся ресницы и дрожа от утренней прохлады.

Внизу — аул. Чабаны гонят по склону гор отары. И юрты и отары сливаются с рассыпанными вокруг валунами. Гора своей тенью закрывает долину и, пока солнце не поднимется над горизонтом, огромная тень будет двигаться навстречу все ближе к ее подножию.

Бабушка, выйдя из юрты, берет меня за руку: «Пошли кумыс пить, коль ты рано встал». Я упираюсь босыми ножонками о камень, хочу вырвать руки...

— Ты что упираешься? Ну хорошо, я сама все выпью!

Покинутый бабушкой, я с плачем бросаюсь следом за ней...

Детство... Детство! Далекое и смутное, наивное и чистое, заря жизни моей...

Люди мне казались добрыми и чистыми, правдивыми и любящими, преданными друг другу. В бороде мужчины я видел нечто достойное уважения. В юношеском задоре джигитов и в шелесте девичьих платьев видел торжественную красоту жизни. Мне казалось — они все любят меня и созданы для того, чтобы забавлять шаловливых детей.

Громады величавых утесов, бескрайний простор степей, прозрачная синева неба, мерцающие звезды, круглый диск луны, пышный ковер растений — все, казалось, смотрит на меня с доброй, ласкающей улыбкой. Все добры и красивы, как красивы были для меня моя старенькая бабушка и молодые сестры.

Только хмурые тучи напоминали мне деловитость отца, а гром казался гневом бабушки на своих взрослых детей, и я испуганно затихал... Дождь, казалось, был похож на слезы обиженного ребенка, и мне становилось [20] жаль его, и я страдал... Табуны игривых кобылиц, несущиеся по полю жеребята звали погнаться за ними. В ясные дни дымчатые барашки облаков манили меня, хотелось долететь до них и играть меж облаками в прятки со сверстниками... Куда только ни уносило меня детское воображение... Мне и сейчас иногда хочется вернуться в этот далекий детский мир...

Мы всегда почему-то в своих воспоминаниях ищем какую-то систему, хотим придать им какой-то смысл. Это возможно для более зрелого периода, но напрасно искать стройность и последовательность в наших первоначальных ощущениях. Мне думается, что бессюжетная биография каждого из нас тем и интересна, что она доносит до нас с точностью все восприятия и впечатления ребенка. Поэтому мне хочется рассказать о своих детских впечатлениях в той первородной чистоте, которую мы все вспоминаем.

... Вот моя сестра Убианна идет от большой юрты к очагу. Я увидел ее, с радостью бросаюсь навстречу. Она, на лету схватив меня, подымает над головой. Я хохочу... Потом она через широкий разрез ворота рубахи прячет меня за пазуху и так несет дальше, словно кенгуру своего детеныша. Из рубахи торчит моя голова. Мне тепло на ее груди...

Однажды другая сестра Алиманна, играя со мной, из домашней утвари и вещей соорудила круглый забор в полметра высотой, обманом загнала меня туда и, заперев «ворота» отцовским седлом, ушла играть со своими подружками. В этой «одиночной камере» я с неистовым ревом провел около часа. Оттуда меня высвободила тетка. «Ой, какая нехорошая девочка Алиманна!» — приговаривала она, укачивая меня на руках. С тех пор я меньше любил младшую сестру...

* * *

Помню... Дядя, младший брат моего отца, держит меня на ладони правой руки посредине большой юрты. Я стою на его ладони, не сгибая колен, и ужас наполняет мое сердце. Дядя приговаривает: «Каз! каз!» — и ловко оберегает меня от падения...

Это он же посадил как-то меня в лисий тумак ***(шапка),*** оставшийся [21] от моего деда и, завязав тесемки тумака, повесил меня в нем высоко на выступе стены юрты. Потом сам уселся на кошме и долго забавлялся, задавая мне вопросы: «Ну, как, птенец? Когда вылетишь? Когда вылетишь?» Когда же я начинал хныкать, он пугал меня, что сейчас придет дивана ***(нищенствующий странник)***... После этого я избегал дядю...

* * *

Как-то отец приехал с базара. Старшая сестра вынесла меня навстречу к нему. Отец приспособил коржун ***(переметная сума)*** на седле и посадил меня на коня. Я вцепился в переднюю луку седла. Отец повел коня в поводу. Расстояние до юрты было не более тридцати метров, но я несколько раз переваливался то в одну, то в другую сторону и скатывался в коржун. Отец, смеясь, вытаскивал меня оттуда и снова сажал на седло. Сестра шла рядом и приговаривала: «Не бойся, не бойся! Крепче держись!» Это был мой первый урок верховой езды.

* * *

Вспоминается еще... В юрте на кошме сидят несколько бородатых людей и пьют кумыс. Отец — на краю кошмы, он знаком подзывает меня и шепчет на ухо: «Ты что же, приветствовал ата ***(дедушка),*** как я тебя учил?» Пристыженный, я выбегаю из юрты. Немного постояв, я с важным видом снова вхожу и, поклонившись, произношу членораздельно: «Ассалям-алейкум, аталар». Разумеется, все смеются и, чтобы меня не обидеть, хором отвечают: «Алейкум са-лям»! Потом начинают хвалить меня и называют хорошим мальчиком. Довольный похвалами, я подсаживаюсь к отцу. Он гладит меня по головке: «Молодец, мой мальчик! Когда входишь в юрту, где сидят старшие, всегда поступай как положено!»

* * *

Отец меня учил нашей родословной. — Чей ты сын? — спрашивал он меня. — Я сын Момыша, — отвечал я. [22]

— Момыш чей сын?

— Момыш — сын Имаша. И так до седьмого колена...

Приезжавшие гости всегда считали своим долгом интересоваться моими познаниями и спрашивали мое имя, а затем имена всех прародителей до седьмого колена.

* * *

Как-то во время поездки по Кавказу третьи сутки мы ночевали под открытым небом. Часто я лежал с открытыми глазами, мысленно путешествуя по своей биографии. На многих перевалах жизни я не задерживался, меня постоянно влекли детство и военные годы. Мне хотелось, пока все спят, вскочить и записать все, что вставало в памяти. Но где же взять свет? Мне оставалось смотреть на небо. Звезды мигали, сочувствуя моей беспомощности. Где-то в лесу перекликались совы, словно сторожа, охраняющие ночной покой. Чистое-чистое небо... Полная, будто в широкой улыбке, луна. Еле слышен легкий шелест деревьев... Холмистый горизонт. Нет, это не холмы, это загон пушистых верблюдов, горбы которых мягко переливались на фоне ночного неба, возвышаясь один над другим... Это не Ала-Тау с торчащими пиками — скалами, нет, это были именно гигантские верблюжьи горбы. Тогда я вспомнил...

Мне было пять, а может быть, шесть лет. Я проснулся ночью и неслышно соскользнул с бабушкиной постели. Я хотел пойти к отцу, юрта которого находилась неподалеку. В загоне, вытянув шеи, вплотную спали верблюды. Пробираясь среди них, я прислонился к пушистому верблюжонку и долго смотрел в звездное небо. Луна, мне казалось, улыбалась. Верблюжьи горбы, как горные хребты, возвышались на фоне неба, волнистой линией перекрывали друг друга. Было так тихо, что я слышал легкое дыхание верблюжат. Я забыл, что шел в юрту к отцу, и стоял, как зачарованный. Утром меня нашли спящим между двумя пушистыми верблюжатами. Отец посмеялся, а бабушка рассердилась и с тех пор стала запирать дверь в юрте...

Я никогда не думал, что может повториться эта ночь на войне. Но тогда было точно так же. Я себя чувствовал [23] среди горбатых гор и лунной ночи таким же маленьким, как в те годы.

... Итак, мне исполнилось пять лет. Наш аул давно уж откочевал с горных летовок, что находились у подножия Ала-Тау, по ущельям Ак-сай и Кок-сай спустился вниз, на сочные равнины Мын-булака — «тысячи родников».

Стояла ранняя теплая осень. Проходили будничные дни кочевок нашего аула. Скот пасся, взрослые занимались своими делами, мы, дети, играли в тиши родного аула. Я подрастал, заканчивался мой аульно-степной «детский сад».

Когда я перебираю в памяти имена своих учителей, постоянно встают передо мной образы моих родителей...

Никто из моих более поздних наставников не учил меня тому, чему научили бабушка, отец и старейшие из наших сородичей. Нет, я не преувеличиваю. Впервые я услышал от бабушки легенды о сотворении мира, о человеке, о жизни, суждения о долге и благородстве, о том, что хорошо и что плохо, что следует делать и чего следует избегать, кого следует любить и кто достоин презрения. Первый свод законов Суда Совести, Морали и Нравов преподали мне они. Правда, как и все дети, я не понимал сути бабушкиных сказок и легенд, отцовских рассказов и поучений старших. Меня тогда увлекал лишь их внешне приключенческий характер. Сейчас мне ясно, что я от них познавал законы человеческого поведения.

Преподаватели меня учили, как произносятся звуки, как из букв образуются слоги, а потом слова. Учили водить пером по бумаге, решать задачи. Но сама жизнь, люди, с которыми мне пришлось сталкиваться за короткий период моей жизни в сложной, непостоянной, меняющейся обстановке, кидавшей меня из тишины в гущу людскую, с одной волны нашего времени на другую, из одного русла жизни в другое, — тоже были моими учителями. Они расшифровывали мне бабушкины «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо»...

Бабушкино «так было» меня отбрасывало далеко назад, на много веков, и это же бабушкино «было» много раз пыталось бросать меня вперед...

Вот сегодня, когда я сам стал отцом, и дети начинают задавать мне наивные, простые, но глубоко содержательные вопросы, а время и расстояние не всегда позволяют ответить им, я искренне жалею, что у них нет такой бабушки.

Все дети на вопрос сколько им лет не без гордости отвечают: исполнилось столько-то. В наше время по календарю ежегодно отмечают дату рождения, а тогда, в дни моего детства, у нас отмечался не год рождения, а своеобразная «веха». Первая «веха» младенца — считалась по истечении сорока дней, следующая — «пошел седьмой год», что означало: ребенок окончательно встал на ноги. Недаром у нас говорят: «До семи лет землей будет бит», — то есть дитя до семи лет ползает, падает. Настоящая «веха» исполнялась, когда мальчику шел тринадцатый год — год зрелости, то есть когда его переставали водить за руку, или, как казахи говорят, он «овладел собственными поводьями». И, наконец, — двадцатипятилетний джигит».

Отец меня учил названиям дней, месяцев и годов по двенадцатицикловому летоисчислению. «Год мыши, коровы, змеи, лошади, обезьяны, курицы, кабана, зайца, барана, барса, собаки, улу (улитки)»... — заучивал я. Но отец не разъяснил мне, что это означает.

Однажды, с разрешения отца, я решил похвастаться своими скудными знаниями и стремглав побежал в бабушкину юрту...

В юрте, как я помню, веял тихий ветерок. Бабушка сидела с двумя прутьями и разбивала шерсть такими ритмичными ударами, точно отбивала какую-то мелодию. Двое моих сестер и племянница помогали бабушке. Одна носила шерсть, другая ее раскладывала, третья крутила веретено... Я, одержимый своими познаниями, вбежал в юрту, нетерпеливо закричал: — «Бабушка, бабушка, постой! Я расскажу, что я выучил»... — «Подожди, внучек, я кончу, потом расскажешь», — как всегда спокойно остановила она меня. Я сел и начал ворошить шерсть, но младшая сестра вырвала у меня из рук. Я разозлился на нее и назвал обезьяной. Она обиделась и отшлепала меня:

— Почему я обезьяна?!

— Потому, что ты в обезьяний год родилась...

— А ты кабан, потому что в кабаний год родился! — показала она мне язык. [25]

Я обиделся и полез драться. Бабушка разняла нас, смеясь.

— А когда Курманкуль родилась?

— В год курицы, — ответила бабушка. Курманкуль была худенькой, и косички торчали у нее во все стороны. Мы сразу стали дразнить ее «общипанной курицей». Курманкуль начала хныкать. Тогда бабушка усадила нас, дала по горячей лепешке и начала с достоинством:

— Когда аллах сотворил мир, солнце, луну, день и ночь, он так устал, что позабыл дать название дням, неделям, месяцам и годам. Все живое на земле существовало, не зная ни счета, ни времени, и все до того запутались, что

не знали, кто старший, кто младший: возраст определяли не по годам, а по росту, не знали, когда быть осени, зиме, весне и лету. Бараны и верблюды ходили нестриженые и забывали линять, а люди — их стричь. Аллах смотрел, смотрел на этот беспорядок и решил научить людей уму-разуму: счету времени, научить дорожить временем, а не жить беззаботно, как дети, а для этого разделить месяцы на недели и дать счет дням, а год — на двенадцать месяцев, чтобы все знали, когда что делать: когда молодняк кормить молоком, когда надо стричь баранов, когда гнать скот на летовку. И назвал аллах месяцы по временам года. Луне велел помогать вести счет, закрывая и открывая свое лицо, а звездам — предсказывать погоду.

Так и жили люди много лет. И снова началась путаница... Каждый год похож на следующий, весна — на весну, зима — на зиму. И жили люди, не имея прошлого и не заглядывая в будущее...

Тогда аллах собрал всех зверей и сказал им, что устанавливает он счет по двенадцати лет, а для того, чтобы все помнили и не забывали года, он хочет назвать их именами звериного мира. Пусть все выйдут в степь завтра на рассвете и смотрят на восток. Когда первый луч ляжет на горизонт, появится белое облачко пара и застелет светлым покрывалом землю, это будет новый год. Кто первым его увидит, именем того назовется первый год, и отсюда пойдет летоисчисление. Кто увидит вторым — второму году подарит свое имя. Итак, двенадцать животных, увидевших первыми год, удостоятся этой чести. Звери побежали в степь и, конечно, начали хвастаться [26] и спорить, каждому хотелось быть первым. Одни кичились зоркостью глаз, другие — быстротой ног, которые домчат их раньше всех к новогоднему облаку, третьи... Но верблюд, пожевывая жвачку, надменно посмотрел на всех, кто мельтешил у его ног, и улегся... »Напрасно спорите, мне и бегать не надо, и вставать не надо. Моя шея такая длинная, что мне стоит поднять голову вот так, и я буду выше всех и увижу первым новый год аллаха». Он с пренебрежением вытянул голову и стал подбирать на земле колючки.

Бедный маленький мышонок, сознавая свое ничтожество, волновался и метался больше всех, спрашивал у каждого: «Что же мне делать? Что же мне делать?!» Он даже осмелился спросить у верблюда, но тот только фыркнул и сплюнул в его сторону жвачку: «Убирайся подальше, мелочь, ты даже ниже травы! Здесь немало более достойных»... И он лениво прикрыл тяжелыми веками глаза.

Ночь, успокаивая всех, покрыла землю темной шалью. Потом засветились звезды, в степи стало так тихо, что даже ветер приумолк, и только изредка повизгивал шакал... Звери широко раскрытыми глазами смотрели на восток.

Вот еле заметно стало розоветь небо. Звери заволновались, начали вытягивать шеи; лиса, взмахнув пушистым хвостом, забегала из стороны в сторону...

— Я успею еще... — зевнул верблюд.

И тогда вдруг над его головой раздался тоненький писк:

— Я вижу... Я вижу, вот облако начало подыматься...

Это мышь, взобравшаяся на голову верблюда, первой увидела новый год.

— Где ты пищишь, мерзкое создание? — обернулся верблюд, забыв о словах аллаха...

— Я на твоей макушке, отсюда все видно лучше и дальше, и я первая!.. — радостно крикнула мышь, но верблюд тряхнул головой, и мышь с криком «я первая» скатилась на землю.

Вот почему первый год назван годом мыши, и в народе говорят: «Не уподобляйся верблюду, который, надеясь на свою длинную шею, остался ни с чем... Многие звери удостоились чести, а года верблюда нет и поныне...». [27]

Бабушка рассмеялась и сказала:

— Никогда не мните себя высокими, чтоб мышь не оказалась умнее вас, дети мои...

В это время через верхнее отверстие юрты влетела ласточка. Запищали птенцы, высовывая желтые ротики из гнезда, что так ловко прикрепилось к кругу шанрака ***(купол юрты).*** Мы все невольно посмотрели вверх. Ласточка примостилась на краю своего гнездышка, и первый птенец был накормлен, а мать снова улетела за добычей. Вот видно, как она взвилась вверх, вот маленькой точкой носится она в голубизне неба, вписанного в

отверстие шанрака, и снова стремительно кидается вниз — и следующий крикун получает зеленого жука. Усталая ласточка садится на край гнезда и чистит перышки...

— Фью-ю! — свистнул я и, схватив длинный прут, которым бабушка только что била шерсть, подпрыгнул, спугивая ласточку.

— Эге-ге! Какой ты нехороший мальчик! Ой, какой нехороший! — удержала меня за руку бабушка. — Зачем пугаешь ласточку? Разве ты не знаешь, что она — друг человека? Она — желанный гость у меня в юрте, пока птенчики не окрепнут... Моего гостя обижать — это значит меня обижать.

Девочки посмеивались, глядя на меня. Тогда бабушка притянула меня к себе:

— Ну, успокойся, светик мой... Сядь на колени ко мне, и я расскажу тебе, почему у ласточки хвост рассечен и почему у комара нет языка.

Слушать бабушку было для нас наслаждением.

— Однажды великому падишаху Сулейману ***(царь Соломон),*** — начала свой рассказ бабушка, — который был мудрее всех султанов в мире и справедливо царствовал над живущими на земле и в воде, понимал язык всех зверей, птиц, рыб, животных и насекомых, змея оказала неоценимую услугу: она, разбрызгав свой яд, преградила путь врагу.

Желая вознаградить змею, падишах Сулейман спросил ее:

— Что хочешь ты за свою помощь?

— О, великий Сулейман,- отвечала змея, свернувшись в три кольца и высоко подняв голову, — позволь [28] мне и моим потомкам пить самую сладкую кровь у живущего на земле...

Сулейман задумался, но сказал:

— Так и быть. Но назови мне, чья кровь слаще всего.

— О, великий государь, — жалобно ответила змея, — откуда мне это знать. Такой меня создал бог. Тело мое холодное, и все с отвращением прикасаются ко мне. Никто не хочет меня приласкать. Я без крыльев, без ног и никого не могу догнать. Даже луч солнца бежит, отскакивает от моей кожи, и я долго-долго должна лежать на песке, чтобы согреться. Кому даны ноги — убегают от меня, кому даны крылья — вьются со смехом надо мной. Откуда мне знать, чья кровь слаще? Даже мою слюну аллах сделал ядом для всего живого!

Долго думал справедливый Сулейман. Ведь нелегко было мудрому и доброму царю обречь кого-нибудь на мучительную смерть, но слову данному изменить он не мог. Тогда созвал он всех насекомых, у которых было длинное жало, и повелел разлететься на все четыре стороны, дабы испробовать кровь всех живущих на земле, вернуться и доложить, чья кровь слаще.

Полетели гонцы во все четыре стороны выполнять приказ Сулеймана. Шли дни. Носились по миру гонцы. Весь живой мир был полон волнения: кому же выпадет несчастье гибнуть от змеиного жала?

Вот однажды ласточка, которая раньше всех с тревожным чириканьем вылетала каждое утро навстречу посланцам, увидела усталого комара. Он первый возвращался с ответом. Ласточка понеслась к нему навстречу.

— Здравствуй, комар... Мир тебе! Благополучно ли совершил путь? Что нового в великом царстве Сулеймана, которому подвластны земли, моря, горы и долины?

Комар вежливо ответил на приветствие ласточки, но извинился: ему некогда было подробно рассказывать, он четверо суток летит не отдыхая и спешит дать царю ответ.

— Тогда я буду сопровождать тебя, и ты сможешь по дороге продолжать рассказ.

Ласточка полетела рядом с комаром, и он рассказал, как выполнял поручение Сулеймана.

— Чья же кровь оказалась самой сладкой?.. Я сгораю от любопытства! — воскликнула ласточка... [29]

— Че-ло-ве-че-ская! — с важностью прожужжал комар.

— Нет... нет... ты неправду говоришь! — заволновалась ласточка.

— Клянусь! Пусть бог обрушит на меня небосвод!! До сих пор вкус ее у меня на языке...

— Покажи язык!

Глупый комар высунул язык, а ласточка молниеносно клюнула и вырвала язык комара.

— Не смей лгать, гадкое существо! — чирикнула ласточка и понеслась навстречу другим гонцам... И каждый давал тот же ответ, что и комар. И с осой, слепнем, мухой ласточка поступила так же, борясь за жизнь человека...

Когда все гонцы собрались во дворе, вышел великий Сулейман, сел на трон и обратился к комару:

— Ну, скажи, чья кровь слаще?

Комар попробовал ответить, но только жалкое «вззз» раздалось в ответ на вопрос царя.

— Ты что, пьян? Языка у тебя нет, что ли? Говори толком!

Но снова только «вззз» получилось у безъязыкого комара.

Сулейман обратился к осе, мухе и другим гонцам, но только «д-з-з-з», «ж-ж-ж-ж-ж», «ж-ж-ж-ж-у-у-у-у» — были ответом.

— Что с ними случилось? Кто-нибудь понял, что они говорят? — спросил рассерженный Сулейман.

Тогда ласточка вылетела вперед, поцеловала землю у ног Сулеймана и сказала:

— Я все поняла. Они все в один голос утверждают, что самая сладкая кровь — это кровь лягушки, мой государь.

Великий Сулейман поднялся с трона и сказал:

— Быть сему!

Змея, что лежала у подножия царского трона, взбешенная, захлебываясь собственным ядом, взвилась.

— Она лжет! Это лож-жь! — шипела змея.

— Быть сему, — повторил Сулейман. — Решение царское не отменяется.

Тогда змея в злобе кинулась на ласточку, но та успела вспорхнуть, и только хвост ее удалось змее рассечь своим жалом.

Вот почему у ласточки хвост рассечен надвое. А комары, мухи, осы и мошкара до сего дня не могут забыть сладости человеческой крови, и только забудется человек, заснет, они тут как тут и жалят немилосердно... — рассмеялась бабушка и щелкнула меня по носу. — Понял, малыш?

С тех пор каждое утро, просыпаясь под чириканье ласточки, я с нежностью следил, как она ныряла сквозь отверстие юрты в синеву утреннего неба.

Еще одна легенда, рассказанная бабушкой, вспоминается мне. Но о ней — потом...

Мой дядя Момынкул был у бабушки самым младшим из всех ее детей. Он был высокого роста, атлетического телосложения, с черными глазами, коротким, тупым носом и немного отвисшей толстой нижней губой. Цвет кожи у него был светлый.

Бабушке не нравились его тупой нос и толстые губы. «Ничего не поделаешь, хотел быть похожим на меня, по не вышло», — говорила она. Все же, как младший, оп был баловнем и любимым ее сыном. Бабушка прощала ему дерзкие выходки и непослушание, часто грозилась наказать его, но Момынкул, спрятавшись в другой юрте, выжидал, пока бабушкин гнев остынет. Бабушка ни к кому не была так забывчива в своих обещаниях «наказать», как к нему. Услыхав о каких-нибудь выходках Момынкула — а он их позволял себе часто — бабушка только качала головой.

— Ах, тентек! Тентек ***(баловник)***! В кого только он пошел? — вопрошала она. — Отец был тихий... Наверно, в моих братьев, в брата моего Серкебая. Такой же он непоседа и вихрастый...

В юности мой дядя, действительно, был неуравновешенным, вздорным и неусидчивым. Если он шел пешком, то руки его болтались во все стороны от стремительной ходьбы; если ехал на коне, то носился, как угорелый, напролом, не считаясь ни с какими препятствиями. На коня садился прыжком и соскакивал с него на ходу.

Помню однажды, когда солнце своим диском задевало [31] вершины западных гор — Кулана, окрашивая оранжевым заревом Чокпан, Жабаглы и Буралдаи ***(названия гор),*** а на севере зубчатые вершины Ала-Тау отражали в своих снегах последние лучи, равнины нашего джайляу постепенно покрывались тихой тенью. Розовато-синяя, она неторопливо окрашивала все вокруг в лилово-синий цвет вечера. Прохлада охватывала землю. Аул, оживленный пригоном скота с пастбища, завершал свой трудовой день. Женщины заканчивали дойку овец и коров, привязывали барашков в кугены ***(привязи для ягнят***), телят к колышкам. Мужчины доили кобылиц. Кони в табуне еще пощипывали траву. В этот вечер долго не могли изловить одного с диким норовом кашагана ***(неуловимый конь)*** из табуна нашего аула. Кашаган так стремительно носился по степи, что скакавший на добром коне джигит напрасно старался накинуть ему на шею аркан. Весь аул собрался смотреть на эту гонку, каждый переживал по-своему.

— Вот-вот, еще немножко! — кричал один болельщик почти догнавшему кашагана ловцу.

— Так-так... Накинь скорей! — советовал другой.

— Вот дьявол, опять улизнул! — огорчался третий. Одни хвалили, другие корили всадника.

— Ему только корову догонять!

— Езжай сам да попробуй такого дикаря изловить! Дядя вскочил на неоседланного коня и помчался наперерез скакавшему кашагану.

— Вот еще, что же он без аркана сделает?! Напрасно коня измучает...

Момынкул поравнялся с крупом кашагана, схватил его за хвост и слетел со своего коня на землю. Раздались испуганные возгласы зрителей. Все думали, что он упал. Но нет, Момынкул уже бежал, не выпуская хвоста кашагана из рук и оттягивая круп лошади в сторону, так что конь никак не мог ударить дядю задними ногами. Невольно кашаган замедлил бег, и Момынкул, воспользовавшись этим, ловко вскочил на коня и, ухватившись за гриву, долго носился по степи, пока дикарь не подчинился его воле. Аул с восторгом наблюдал это.

— Вот так джигит! Он самого черта обуздает...

— Аи да молодец!

— Ловко вышло!

— Словно клещами вцепился в него!..

Мой дядя любил слушать похвалы своей смелости и готов был пойти за них в огонь и в воду. Он был очень силен и свободно поднимал любую тяжесть. Самый тяжелый груз во время откочевок выпадал всегда на его долю. Любитель борьбы, он был также лучшим бегуном в ауле, но никогда ничего не доводил до конца. Он заслужил прозвища: «ловкий», «алан-гасар каракуш», то есть «опрометчивая черная сила», «таубузар» — разрушитель гор,

то есть такой самонадеянный, что горы может пойти рушить. Короче говоря, он был степным спортсменом, безрассудным акробатом как на земле, так и на коне, и его лихость часто приносила ему серьезные неприятности. Я не помню ни одного года, чтобы он с кокпара ***(национальная конно-спортивная игра)*** возвращался невредимым. Однажды его привезли с вывихнутой ключицей, в другой раз — с переломом ноги, в третий — без сознания. Но, выздоровев, он все забывал, как забывают женщины родовые муки.

Бабушка, когда Момынкул, лежа на постели, стонал, упрекала его:

— Ой, ты меня загонишь раньше времени в могилу! Из-за тебя согнулась моя спина! Какой злой дух несет твою душу?

Потом она тоже забывала обо всем и говорила заботливо, ласково:

— Тебе больно? Дать тебе пить? Может, у тебя подушка жесткая?

Несчастные случаи с младшим сыном дорого обходились бабушке, она проводила у изголовья Момынкула бессонные ночи и забывала о нас, внучатах. Поэтому мы с детства ревновали ее к дяде и не очень любили его, боялись лишиться бабушкиной ласки.

Отец мой, чтобы остепенить неудержимого юношу, посадил его за чтение, но за книгой дядя не смог усидеть, и для разнообразия отец начал обучать его ювелирному Делу. В домашней обстановке ученье не шло успешно, и было решено отправить дядю в «школу» — в аул к бабушкиным братьям, под покровительство деспотического Серкебая. [33]

Я помню приезд Серкебая в наш аул, ему шел тогда шестой десяток. Его приезд был событием для аула. Вдалеке на горизонте показались четыре всадника. Это ехал Серкебай с тремя сопровождавшими его джигитами. Серкебай ехал мелкой иноходью на лысом добром коне, а сзади джигиты тряслись мелкой рысью.

— Серкебай едет! Серкебай едет! — раздались возгласы, когда он был еще далеко.

Бабушка засуетилась, начала приводить в порядок юрту: стелить кошмы, стеганые одеяла, раскладывать подушки, готовясь принимать гостей.

Отец и дядя вышли из юрты и стали в почтительных позах, издали давая знать Серкебаю, что они ожидают его. Увидев их, Серкебай принял надменную позу и убавил шаг своего коня. Джигиты последовали его примеру. Когда Серкебай подъехал на двадцать-тридцать шагов, по знаку отца дядя бросился вперед и почтительно приветствовал гостя традиционным «Салям алейкум!» ***(приветствую вас),*** потом взялся левой рукой за повод коня, а правой за путалище стремени.

— Алейкум салям ***(ответный привет)***! — ответил Серкебай, остановившись и перекинув правую ногу через круп коня. Пока ноги всадника не коснулись земли, дядя почтительно поддерживал его под руку. Разминаясь, Серкебай широко расставлял ноги, потом подошел к отцу и по-казахски, двумя руками, поздоровался с ним. Джигиты тоже слезли с коней. Отец сделал знак аульным юношам и сказал:

— Возьмите коней у кунаков ***(гость)***!

Серкебай, рассердившись, взмахом плетки в сторону остановил юношей, что бросились к коням.

— Вы сумейте меня с почетом принять, а не моих рабов!

Джигиты, видимо, привыкшие к столь нетерпимому характеру Серкебая, смущенно и растерянно улыбались.

— Чего зубы скалите? Занимайтесь своим делом! — продолжал бушевать Серкебай. — В другом ауле я сам потребую почета не только к вам, но и к своим собакам, а в ауле родной сестры вы будете служить мне, как дома. [34]

Увидев, какой свирепый вид у гостя, мы, перепуганные, спрятались и смотрели исподлобья.

Отец пригласил всех в юрту. Серкебай вошел первым. Бабушка обняла его, бормоча ласковые слова. Джигиты внесли в юрту тяжелые коржуны. Серкебай сел на почетном месте и, обращаясь к бабушке, уважительно спросил:

— Вы в добром настроении, старшая моя сестра?

— Слава богу, светик мой, слава богу, — отвечала бабушка.

Дальше пошли обычные в таких случаях расспросы о благополучии пути, скота и семейства. Были развязаны коржуны и оттуда вынуты подарки: чай, сахар, кишмиш, урюк и отрез материала на платье бабушке.

Серкебай одет был богато и щеголевато: входя в юрту, он снял сусликовую шапку, на свежевыбритой синей голове осталась расшитая бархатная тюбетейка; на бешмете блестел серебряный пояс; в руке — роскошно отделанная серебром камча. Длинный прямой нос, прищуренный глаз делали его худощавое лицо хмурым; подстриженные усы свешивались концами по углам рта; борода длинная, но редкая. Говорил он резко, повелительно, нервными, острыми жестами тыча в сторону собеседника плеткой или указательным пальцем. Мне казалось, что он не терпит возражений и все ему покорны, поэтому я не осмелился вести себя свободно, да к тому же на нас, малышей, он не обратил никакого внимания, как будто мы и не существовали.

За вечер Серкебай несколько раз кричал на моего дядю и своих джигитов, делал гневные замечания; все было не по нему.

Так как мне не довелось лично видеть ханов и султанов, для меня Серкебай воплощал черты средневекового феодала.

Как положено, был забит баран. Бабушка насыпала нам в ладони сахару, кишмиша. Мы любовались конями. Сбруя на них была с серебряной чеканкой.

Когда Серкебай увозил дядю из нашего аула, тот боязливо оглядывался на бабушку, как бы прощаясь навсегда, и медлил с посадкой на коня. Рассерженный Серкебай, уже сидя в седле, раза три беспощадно стегнул дядю плеткой, приговаривая:

— Скоро ли ты распростишься? Я выбью из тебя Дурь. Как приедем в аул, я тебе обе ноги в один сапог [35] затолкаю ***(казахскай поговорка, аналогична русской: «Я тебе покажу, где раки зимуют», или «наломаю бока»)***. — И, злобно посмотрев на бабушку, процедил сквозь зубы: — Только кости получишь обратно, апке ***(старшая сестра)*** ! Дядя жалобно посмотрел в последний раз на бабушку, а бабушка растерянно прошептала:

— Знай сам, милый, твоя воля, но это твоя же родная кость...

Серкебай, надменно попрощавшись, тронул коня.

За ним, как пленник, поплелся дядя. Никакого следа не осталось от его былой лихости...

Бабушка долго смотрела им вслед и, вытирая слезы концом платка, повторяла:

— Да счастлив будет твой путь, светик мой!

Не прошло и месяца, как бабушка затосковала о сыне, а через три месяца, не выдержав разлуки, поехала его навестить. Прожила она там около недели, вернулась и, ахая и охая, рассказывала моему отцу:

— Бедный мой мальчик так похудел, так осунулся! Серкебай держит его, как в тюрьме. С утра до вечера заставляет читать. Мальчик скоро совсем зачахнет.

По рассказам бабушки, Серкебай был неумолимо строг. Дядя жил в его доме по расписанному твердому распорядку. Конечно, Серкебай не заставил его ходить в одном сапоге, как я себе представлял это буквально.

Он одел дядю в длинный халат, а вместо шапки заставил носить чалму.

— Вхожу я в юрту, — рассказывала нам бабушка, — вижу: в углу, на корточках в белой чалме сидит бледный молодой мулла и читает коран. Вгляделась я: мой младший! Даже глазам не поверила...

В другой раз на просьбу бабушки отпустить сына в аул погостить Серкебай ответил:

— Верну тебе его человеком, а если человека из него не выйдет, оставлю его у себя рабом и приставлю к моим охотничьим собакам, пусть за ними ухаживает.

Сколько ни просила бабушка, Серкебай был неумолим. Дядя вернулся от него только через два года, в чалме, длинном халате, с маленькими пробивавшимися усиками, что вызвало смех в нашем ауле. [36]

Уже на второй день после приезда дядя сбросил чалму и, натянув лисью шапку, стал таким, каким был. И с тех пор он был записан вторым грамотеем в нашем ауле.

* * *

В грустные минуты бабушка снова рассказывала нам легенды. Она, видно, забывала свое горе, когда рассказывала, и потому начинала: «Послушайте, дети... Было это после создания мира, но еще аллах не покарал людей страшным потопом и не стер с лица земли их города и аулы... Люди тогда не знали слова «благодарность», они пользовались солнечным теплом, прохладой ветра, сиянием луны, дарами земли и ничего не называли ласковым словом... Тогда усталое Солнце с жалобой обратилось к Аллаху:

— О великий создатель, без покоя, отдыха и без сна я всхожу, своим светом все уголки мира освещаю, своим теплом все живое согреваю, растения и землю оживляю. Подымаясь на восходе, я извлекаю мир из тьмы и всех делаю зрячими, своим сиянием я приношу радость всему живому и тленному, замерзшим в холодную ночь дарю тепло, промокших от дождя просушивают мои лучи, и все, все твои твари, согретые мной, расправляют спины, протягивают руки ко мне, чашечки цветов раскрываются, принося радость ненасытным глазам человека. Я не ночь и не тьма, что вселяют грусть и печаль в души твоих созданий; я заставляю их смеяться и радоваться жизни, потому что от тепла моего тают снега, льдины я превращаю в изумрудные потоки, утоляю жажду водой прозрачных родников. Но нет мне, Аллах, благодарности ни от кого за все мои неоценимые труды. Нет у меня больше сил такую несправедливость терпеть. Я прошу меня освободить, дай мне отдых, о Аллах!»

— Иди и продолжай свою службу, — ответил Солнцу Аллах, — а я подумаю, как оценить твой труд...

Следом за Солнцем явилась Луна, поклонилась Аллаху и расплылась в широкой улыбке:

— О Всемогущий и Милосердный, я пришла к тебе с прошением...

— Что случилось с тобой, ночное светило, данное мною Земле?

— О Всемилостивый, одарил ты меня скудным светом и холодным лучом. Когда землю покидает Солнце, я [37] остаюсь во мраке единственным светилом и излучаю сияние, как маяк, и так служу земле и всему земному... Медленно открывая паранджу с лица, я помогаю людям отсчитывать дни, недели, месяцы, в полнолуние я сбрасываю пелену темного покрывала и щедро приношу радость всем, кто не спит во мраке ночи... Лунная ночь дает покой спящим и счастье любящим. Я не обжигаю безжалостно, как Солнце, — мой свет мягок и приятен. Но ослепленные ярким солнечным светом люди не замечают меня: до сих пор ни один из них не отблагодарил меня за честную долгую службу мою, наоборот, я сделалась посмешищем для всего рода людского. Складки на лбу, подбородке и под глазами, что ложатся от доброй улыбки моей, люди принимают за гримасу и дразнят меня, называя корявой. В самое дорогое для меня время, прозванное людьми полнолунием, я вся истекаю добротой, а они мою круглолицесть превратили в имя нарицательное, называют своих тупых и лысых толстяков и уродов «круглолицыми лунами»... Нет, я больше не хочу терпеть все эти издевательства и насмешки!

Луна закрылась тучами и стала жалобно всхлипывать... Начал накрапывать дождь...

— Побереги свои прекрасные серебристые глаза, — сказал Аллах в ответ. — Иди и служи миру, а я подумаю...

Тут забушевал возмущенный Ветер и, подбежав к Аллаху, сдунул пыль с его престола, лег у его ног и взмолился:

— Весь день, всю ночь ношусь я по горам, по лесам, по степным просторам и по морским волнам. Я гоню корабли, собираю тучи и посылаю их туда, где засухи, и отгоняю их, когда влагою пресыщена земля. Если бы не

я, люди погибли бы от зноя. Я разгоняю жар, освежаю тела, проветриваю халаты, платья, шубы. Ни покоя мне, ни отдыха. Я устал. О мой повелитель, устал я от человеческой неблагодарности... Отказываюсь служить...

И Вода в низком поклоне разлилась до самого трона Аллаха и зажурчала:

— И я устала. Повелитель правоверных. День теку, ночь теку... Смываю всю грязь с лица Земли, омываю тела неблагодарных и нечестивых сынов человеческих и утоляю жажду всех живущих. Безропотна и молчалива я в своей чистоте... Но доколе мне терпеть?..

Задумался Аллах.

— Да, неблагодарен род человеческий и заслуживает наказания! — воскликнул он и повелел созвать всех живущих на земле...

— Солнце, Луна, Ветер и Вода несказанно обижены всеми вами, — обратился Аллах к собравшимся. — Они не хотят больше служить и помогать вам и просят отпустить их на покой... Я созвал вас, чтобы спросить, как вы будете существовать дальше?..

Человек, услышав слова Аллаха, так испугался, что побледнел, затрясся и растерянно начал кланяться и Солнцу, и Луне, и Ветру, и Воде, не в силах произнести ни слова.

Тогда Аллах снова спросил:

— Кто желает высказать свой совет?

Все молчали.

Только Летучая Мышь вспорхнула и взволнованно зашептала:

— О Всемогущий, внемли творению своему, разреши мне сказать правду. Подумай, Создатель всего сущего в мире, что станет с людьми, животными, птицами, растениями и цветами, если погаснет Солнце? Что будет с землею, если Луна перестанет управлять приливами и отливами морскими, и вода морей и океанов, нарушив правила, ринется на сушу? Что станет, если исчезнет Вода: иссякнут реки, скроются озера и прекратится журчание родников? А если Ветер перестанет носиться по миру, управлять жаром и холодом, дождями и бурями? Подумай, Создатель! Ветер нам приносит твою волю, и тебя мы благодарим за милость. Пожалей свои создания, Великий! — И испуганная своей смелостью, Летучая Мышь упала камнем к ногам Повелителя Вселенной.

«Правду сказало это маленькое создание», — подумал Аллах и повелел: выполнять всем то, что было приказано в дни сотворения мира... Солнцу, Луне, Ветру и Воде честно работать до Судного дня...

Тогда разъяренное Солнце лучом своим ослепило Мышь:

— Посмей только попасться мне на глаза, и я испепелю тебя своими лучами!

Ветер в злобе закрутился вихрем:

— Смотри, если мне попадешься, я развею тебя в клочья! [39]

— А я утоплю тебя, если только приблизишься к берегу, — прошипела Вода, уходя в свое русло.

А Луна так привыкла улыбаться, что и на этот раз только улыбнулась и промолчала.

— О что мне делать? Я ведь ни в чем не виновата, я не для себя просила твоей милости, Аллах! — взмолилась Летучая Мышь.

Тогда Аллах сказал Летучей Мыши:

— Когда Солнце спрячется за край земли, Луна еще не вступит на свой пост, а Ветер уляжется спать, в тишину сумерек будешь ты вылетать. Днем же скрывайся во мраке развалин и пещер, прижавшись к потолку, или в щелях, чтобы шорохом не выдать себя... А чтобы ты не умерла от голода и жажды, тебе даруются два соска. В одном будет молоко, в другом — вода. Так и существуй.

Вот с тех пор трусливый человек и научился благодарить Солнце, Луну, Ветер, Воду, поклоняясь им. А Летучая Мышь много терпит от человека за то, что была свидетелем его позора...»

Я привожу бабушкины легенды как свидетельство старины, — она, моя бабушка, окончившая только лишь родительский устный «университет», была хранительницей великой народной мудрости.

* * *

В ауле бывали своеобразные вечеринки: после пригона скота с пастбищ, перед наступлением сумерек собирались люди на окраине аула. Обсуждались происшествия за день, рассказывались последние новости и, если не было ничего делового, начиналась борьба, бег или какие-нибудь игры.

С возвращением дяди по вечерам стали собираться у бабушки. Дядя нараспев читал богатырский эпос. Все слушали его с огромным вниманием. Необычайная сочность фольклорного языка, героика, эпические образы, певучесть стихов пленяли всех слушателей, и я впервые это народное достояние «прочел на слух» на этих дядиных вечерах.

Его приглашали в соседние аулы, и он с удовольствием ходил туда. Донимали его и наши аульные бездельники из молодежи, которые днем приходили с просьбой прочесть то, что им понравилось, и что они хотели выучить [40] наизусть, чтобы щегольнуть на вечеринке. Надо сказать, что память этих безграмотных болельщиков была феноменальной. Достаточно было им прослушать слова два-три раза, как они уже знали наизусть весь текст и на следующий вечер затягивали его нараспев в юрте соседнего аула. Они звали дядю своим «учителем». Так, к примеру, и ныне здравствующий старик, безграмотный Суюмбай, до сих пор в ауле декламирующий «Рустем достан», «Камбара» и другие былины, считает своим учителем моего дядю, который ему приходится двоюродным братом с материнской стороны.

Серкебай много раз гневался на дядю за то, что тот снял чалму и вместо отправления религиозных обрядов занимался песнями и развлечениями. Своего племянника он называл шайтаном и безбожником.

— Ты бы лучше за упокой души своих предков и близких коран читал, а ты только «э-э» да «э-э»! — передразнивал он дядю.

— По пятницам я читаю коран, — оправдывался тог.

— Тьфу, несносный, — горячился старик. — Этого мало! Надо каждый день и по нескольку раз читать коран, и то в долгу останешься перед святыми предками!

Дядя был женат три раза и всякий раз со скандалом, не по-мирному. Двух жен своих он украл, и оба раза дело не обошлось без драки и родовых конфликтов, закончившихся уплатой штрафов.

Да, в молодости он был зачинщиком не только игр и вечеринок, но и всяких драк и скандалов.

Старшего брата отца, дядю моего Тюлебая, я помню высоким, коренастым, курносым стариком, с жиденькой козлиной бороденкой, не расстающимся с длинной палкой. Дома он бывал редко и на базар не имел привычки ездить. Его всегда можно было видеть на пастбище. Летом он возвращался в аул поздно вечером, неся на руках ягненка, отставшего от отары. Тюлебай был многодетным, имел середняцкое хозяйство. Когда он умер, за ним в течение двух-трех лет один за другим последовало большинство его детей. От него осталась единственная дочь по имени Курманкуль, старше меня года на три-четыре.

Самую старшую сестру Убиш помню смутно. По рассказам отца, она рано выучилась грамоте, читала книги и даже умела писать. Она была первой грамотной девушкой [41] в нашем степном округе. Приблизительно в 1912 — 13 годах ее выдали замуж за безграмотного Рыскулбека Омарова из рода Бейтана, с которым она была обручена еще смолоду. Когда настало время выдать ее замуж, пошли разные разговоры, что, мол, она «зрячая» девушка, грамотная, а жених — «слепец темный», то есть неграмотный, что на грамотную девушку имеет право только грамотный мужчина. Шли толки о неравенстве и несправедливости брака. Отец, связанный

обязательствами, данным словом и полученным калымом, все же выдал ее замуж за Рыскулбека. Не знаю отчего, но она через год после замужества умерла. Отец до последних дней жизни тяжело переживал эту утрату. По-видимому, он понял, что совершил роковую ошибку. И эта ошибка, кажется, положила основу отношению отца к другим дочерям — моим сестрам.

Зимой мы жили в глинобитных домах, весной откочевывали за десять-пятнадцать километров на джайляу, чтобы скот не топтал хлеб и сенокосные угодья. Сеяли очень мало, только на свою потребу, поэтому обрабатывался ничтожный кусочек земли, да и обрабатывать не умели: бывало, казах омачом ***(деревянный плуг)*** поцарапает кое-как десятину землицы, разбросает зерна, и делу конец. И только в августе приедет собирать урожай.

Жали вручную, прямоугольным серпом. Молотили так. Разложат пшеницу наземь, пригонят с десяток лошадей или быков, устроят из веревок загон вокруг тока и с гиканьем гоняют животных по кругу. В этой молотьбе с гиканьем всегда отличались дети. Мы забавлялись беготней перепуганных животных, и на току стоял такой гам, что даже представить себе трудно. Наконец, уставши от этого «горлодрания», давали животным «вольную», отделяли солому, избитую наполовину копытами, опач-канную навозом. На току оставалось зерно, смешанное с половой и землей. Для того, чтобы отделить зерно от половы, все свистели хором, кто как мог, зазывая ветер... Ветер «приходил по зову», и тогда начинали веять по ветру мелкую солому и пыль с земли. Этим дело не кончалось. Снова свистом зазывался ветер. Ветер к вечеру «приходил на зов». Тогда брали сито и пропускали сквозь него зерна. Потом орава детей бросалась на зерно, ручонками [42] отбирала мелкие камушки и отбрасывала их в сторону. Относительно чистое зерно собиралось в кучу конусом, и кто-нибудь локтями обмеривал вокруг и до вершины конуса, а аульный математик по этим данным определял урожай: мол, столько-то батманов ***(мера веса, приблизительно равная двенадцати пудам).*** После этого торжественно нашептывали какую-то молитву и ссыпали зерно в мешки. Урожай считался даром «святого земледелия», и каждый из присутствующих имел права насыпать себе в мешок столько, сколько позволяла ему совесть, никто не имел права остановить его руку. Получалось это оттого, что урожай и молотьба производились коллективно, по типу субботника, и на дар земли, пока он находился на току, никто не имел права монополии.

Таким я помню хлебопашеский обряд нашего аула во времена моего раннего детства.

Впоследствии соседство с русскими постепенно научило наших родичей, как и других казахов, искусству хлеборобов. Они стали лучше распахивать землю, появились арендованные у русских бороны... Каменные катки на токах, несколько видов сит, веялок, вилы, косы пришли в аул. Но все это прививалось с трудом, медленно, и вплоть до коллективизации казах считал позором работать на лошади, потому что лошадь предназначена для езды. И все работали на волах.

Постепенно укрепилась собственность на землю, на урожай, даже стали сдавать землю в аренду русским, ортачить ***(соартелыцик)*** с ними и между собой на условиях одна к четырем, к двум или трем частям урожая. Появилось сословие косши — сельскохозяйственных полубатраков-хлеборобов.

Бесскотный бедный люд от состоятельных получал зерно для посева, пару волов для работы, корову для молока, иногда и лошаденку для езды, сыромятную обувку и старый самотканый чекпен ***(плащ-халат),*** как спецовку для носки, и на своей земле работал на хозяина, как его батрак.

Косши — батраки-пахари, бравшие только зерно, считались ортаками наполовину; если же они брали и быков — то на одну треть, если брали и корову и чекпен, то [43] им оставалась четвертая часть урожая. Хозяин же за семенное зерно, молоко и волов получал львиную долю урожая. На таких кабальных условиях работали косши. Приезжали также из других родов давать кос нашим, так как у них, за Кара-Тау ***(название горы),*** плохо родился хлеб.

Радиус кочевья все ограничивался и ограничивался, земледелие постепенно теснило скотоводство. Зажиточные из нашего рода со своим скотом откочевывали на зиму за Кара-Тау, а весной возвращались и давали кос своим бедным родственникам. Аул назывался по имени нашего родоначальника Усена. Из Усенов были богатыми баями потомки Нияза, его шестеро сыновей и их дети, приходившиеся мне четвероюродными братьями.

Наш дом не брал кос и не откочевывал на зиму никуда, так как у нас было ограниченное количество скота, для прокорма которого хватало заготовленного сена. Другие ветви Усена частенько брали кос, а ветвь от Бай-мена — Тойтабая с памятных мне времен вплоть до коллективизации никогда не вылезала из коса. Дети Тойтабая мне приходятся троюродными и четвероюродными братьями. Несмотря на равенство колен, происходящих от нашего общего предка Усена, оседлые его ветви считали себя в более близком родстве, чем сыновья Нияза. Но разорившаяся половина ниязовцев после джута ***(массовый падеж скота, который в зимнюю пору из-за обледенения пастбищ не может добыть подножного корма)*** также присоединилась к нам.

Мой отец был старшим из усеновцев, так как ему принадлежала «большая дорога» ***(линия старших в роду),*** и фактически старшим над дехканами-усеновцами. Впоследствии, в 1925 году, после каких-то свадебных скандалов, разорилась и вторая, богатая, половина потомков Нияза, и они присоединились к нам — дехканам.

* * *

Я не помню слова «война». Мне смутно припоминается 1916 год, да и то лишь по вою и плачу женского населения нашего аула, встревоженным лицам мужчин и солнечному затмению перед закатом. [44]

Летели к нам в аул верховые с тревожными вестями: «Рабочих берут! Рабочих требуют! Окопы копать заставят! Землю копать заставят!» И хотя еще никого не брали, достаточно было этой вести, чтобы все женщины с плачем начали прощаться с молодыми людьми, приговаривая: «Ой, что же мне делать? Настал день, когда тебя на войну заберут... Светик мой, о, что же мне делать?» Молодые бледнели при этих словах. День и ночь голосили старухи, матери, им подпевали тонкие голоса молодух. Скот был оставлен без присмотра, а мы, дети, — без внимания и ласки. Мужчины буквально очумели от этого воя. Сначала собирались было куда-то откочевать, потом что-то организовать для драки с наборщиками... Затем начали отсылать юношей к дальним родственникам, в другие роды, — наивная форма дезертирства. Эта суматоха продолжалась несколько дней. Старшие мужчины ездили на какие-то сходки и привозили противоречивые сведения. Наконец женщины устали от плача и причитаний и начали собирать деньги от каждой юрты, бросали жребий между молодыми. Потом, отобрав тех, кому выпал жребий, под плач всего аула старшие отправились с ними к почтовой станции, где находился наборщик. К вечеру они вернулись обратно с «новобранцами», сказав, что выкупили их у начальника. Снова собирали поюртно деньги, и из нашего аула вместо десяти юношей был отправлен один Кожамкул — одинокий бедняк. Аул ему сшил теплую одежду, от каждой юрты были собраны подарки, его пошли провожать на станцию. И вот, как раз в этот день под вечер солнце закрылось пеленой, и запад окрасился красным отсветом.

— Солнце сгорает! Солнце сгорает! Опять заголосили женщины.

— Судный день! Судный день идет! — в безумии шептали люди.

Откуда ни возьмись, появился мулла и закричал азан — призыв к молитве.

— Алла акбар, алла акбар! Иля ий ляха илалла Мухаммет расулалла! — нараспев закончил мулла.

Во время азана все умолкли, каждый про себя молился. Отец и дядя уехали с провожающими Кожамкула, и я с трепетом и страхом в душе прижался к бабушке и не отходил от нее. [45]

— Говори «бисмилля» ***(первые слова молитвы),*** говори «бисмилля!», — тормошила меня бабушка.

Когда мулла прокричал азан, и люди начали приходить в себя, темная пелена сошла с солнца, и все, увидев это, хором воскликнули:

— О аллах, о всемогущий!.

Женщины начали плакать — теперь уже от радости. Все бросились к мулле, как к спасителю, предотвратившему наступление судного дня, и начали одаривать его кто чем мог.

С этого вечера начали резать барашков — жертвоприношение — и резали почти каждый день в течение недели. Взрослые ели бесбармак ***(казахское национальное блюдо из мяса и теста),*** приговаривая: «Да дойдет твое пожертвование». А мы, дети, получив вкусный ломтик мяса, бежали во двор вперегонки, забыв вчерашнюю трагедию нашего аула.

Через несколько месяцев Кожамкул прислал письмо. Это письмо читалось на всех сборах, там были и стихи, лирические строки, говорящие о его тоске по родине, и о том, как ему тяжело на чужбине. Когда читалось письмо, женщины плакали, молодежь наизусть заучивала стихи. Я до сих пор помню отдельные строки стихов из письма Кожамкула:
На этой земле, где лежит пыль, родился я, и резали мне пуповину, да будет благополучие.

Как рыба, я плавал в озере, да будет оно благословенно.

Одна голова у мужественного джигита, ты не увидишь ее до нашего возвращения, народ!

Да ниспошлет тебе господь благословение!

Всякие судьбы бывают у джигитов, но это неважно для мужественного.
Не сопровождать же народу везде и повсюду своего джигита.
Через четыре-пять месяцев вернемся к своему народу...

Кожамкул был неграмотным. Видимо, казахи на окопных работах сочинили коллективное, в стихотворной форме, письмо на родину, и один из грамотеев писал его каждому, кто просил.

Всем аулом собрали и послали Кожамкулу деньги. Через год действительно он вернулся и был принят как [46] желанный гость, в почете отдыхал в нашем ауле целое лето и, собрав подарки, уехал навестить своих товарищей по окопной работе. Более он к нам не возвращался.

* * *

Мне также памятен «год бедствия» или, как его еще называли в народе, голодный год. Это 1917 — 1918 годы.

Два года подряд в наших краях была засуха и недород. Корма для скота недоставало. Зима стояла суровая. Начался массовый падеж скота. Из нашего состояния сохранились всего лишь три козы. Их доили, молока не хватало на всех вдоволь, как прежде, его разбавляли водой, кипятили и пили три раза в день. Если отцу удавалось в обмен на домашние вещи достать несколько фунтов муки, то делали болтушку-затируху.

Этой весной к нам была подведена железная дорога, и станция Бурное стала местом бойкой торговли. Отец купил несколько фунтов сахарного песку и с полпуда муки, снял комнатушку при станции, и бабушка с дядей отправились с этим «капиталом» торговать. Меня они забрали с собой. Я впервые увидел большие строения, многонациональный народ в таком сборе, впервые услышал гудок паровоза. От непривычной ходьбы (четыре километра было от нашего аула до станции) и новых впечатлений я устал. Дядя ушел, бабушка уложила меня спать, а сама начала смешивать сахар с мукой для «женти», как говорила она (по-видимому, это что-то вроде самодельной примитивной халвы). Я заснул.

Утром пришел отец. Когда я проснулся, увидел у всех тревогу на лицах и, ничего не понимая, спросил... Но бабушка мне прошептала: «Поспи еще немножко».

В комнате было сыро, с крыши текло. Ночью прошел проливной дождь.

— Нет, — сказал отец после минутного молчания, — собирайтесь, мама, пойдем домой, в аул, рисковать тут нечего, как-нибудь перебьемся до зелени.

— Я один останусь, — сказал дядя. Отец сердито ответил:

— Тобой-то и не хочется рисковать!

Сборы были короткие. Мы вчетвером вышли на улицу. У соседнего дома толпился народ. Мы быстро прошли мимо. По дороге я понял из слов бабушки, что в соседнем доме ночью за лепешку человека зарезали. [47]

Дядя дома жил редко, теперь он ходил пешком к своим сестрам за Кара-Тау, так как лошадей не было, но оттуда он не приносил ничего.

По другую сторону от нашего аула проходил тракт Ташкент — Пишпек (Фрунзе). Его у нас называли «Черная дорога». На Кульбастау — у одного из крупных родников Мынбулака — стояла почтовая станция, и дядя нанялся туда ямщиком. Бабушка ушла с ним на Бекет, как называли эту станцию в нашем ауле (искаженное слово «пикет»). Мы остались дома, пили разведенное молоко и ели болтушку. Через некоторое время отец съездил куда-то и привез два мешка позеленевшей пшеницы. Мы ее обмывали кипятком, сушили на солнце, жарили и ели.

Прошло еще немного времени, потеплело, и отец привез несколько фунтов сахарного песку и полпуда муки, несколько фунтов проса и пачку чая. Говорили, что эти продукты дали из советского комитета продпомощи. Дни стояли ясные, земля давно подсохла, и отец, забрав меня с собой, отправился к бабушке, на Бекет.

Бабушка нас встретила со слезами. Она очень обрадовалась. Мы принесли ей сахару, чаю, муки и крупы. Дядя был в отъезде. Они жили вместе с другими ямщиками в сарае-общежитии, семей десять или больше.

Мы дождались возвращения дяди. Дядя тоже обрадовался нам, начал ласкать меня и спрашивать, как живут мои сестры. Отец и дядя пошли к начальнику станции. Когда они вернулись оттуда, мы все тронулись в путь. Бабушка весело попрощалась со всеми женами ямщиков:

— Вот меня внук уводит, и для вас пусть настанет поскорее хороший день!

По дороге мы остановились у друга моего отца Иман-кула, жена которого угостила нас настоящим айраном ***(кислое молоко).*** Иманкул привел серую корову с теленком. Отец, отсчитал ему деньги. Иманкул дал нам еще пуд проса, и мы снова тронулись в путь.

Молока стало больше, и мы теперь пили айран.

Наступил май. Дядя четыре дня ковырял лопатой землю, посеял просо.

Мои сестры в поле собирали какие-то травы. Бабушка варила их иногда в молоке, иногда просто на воде, и мы ели. Однажды она накормила нас этим зеленым супом, и спустя час мы один за другим начали валиться на землю. Первой — младшая сестра... Я не мог раздвинуть челюсти, в глазах у меня помутилось, и голова закружилась. Бабушка испугалась, засуетилась, побежала доить корову и начала поить нас молоком. К вечеру вернулись отец и дядя и застали нас лежащими. Мы отравились, по-видимому, какой-то ядовитой травой. После этого «зеленые супы» были запрещены.

У отца появилась лошаденка, он стал разъезжать. Дядя работал дома. Прикочевали на джайляу какие-то баи, и дядя ходил к ним стричь баранов, кастрировать молодняк, ходил иногда на станцию на поденную работу и приносил оттуда буханку хлеба.

Отец пригнал четырех дойных овец и опять уехал. Через месяц он привез нам мачеху. Следующий год был тоже тяжелым, но не таким, как предыдущий. В полном смысле слова мы не голодали, но жили впроголодь. Наши соседи чрезвычайно пострадали, некоторые семьи вымерли, другие разбрелись по родственникам. Только на третий год народ оправился, — получил от государства семенной фонд.

Говорили, что царя свергли, появились слова: «красные» и «белые». В ауле старшие говорили, что «взошла заря и настал светлый день для бедных людей», что «теперь царские чиновники не будут притеснять казахов», что по новому закону «все люди равны». Составляли «черные списки», куда записывали баев. Начались выборы, проводились они каждые шесть месяцев. Появился %новый старшина — старшина союза косши. Говорили о новом порядке, говорили о Ленине, как о вожде тонкериса — переворота, революции. Появились чрезвычайные уполномоченные совдепа, ставились старшины от бедняков. Начали выбирать от десяти юрт активиста. В числе активистов был и мой дядя, его несколько раз выбирали председателем аулсовета. Начался передел земли по-новому, и многие баи, которые раньше увеличивали свой надел, скупая земли бедняков, лишились земель. Земля доставалась тем, кто ее обрабатывал. Условия ортачества тоже изменились в пользу косши. Теперь кабальная одна четвертая была упразднена, но одна треть и половина сохранились. Народ после перенесенных голодных [49] годов ожил, начиналась новая общественно-политическая и хозяйственная жизнь. Люди стали забывать голод, начали обзаводиться хозяйством и имуществом.

* * *

Урожаи пошли хорошие, и зимой началось праздное времяпрепровождение — «жора боза». Чередуя вечера, собирались у кого-нибудь за бузой из проса. Отец не одобрял «жора», и наш дом никогда не принимал участия в ней. Дядя женился года два тому назад и отделился от нас в самостоятельный дом. Он принимал участие в этих складчинах. Один раз отец и мне разрешил пойти посмотреть «жора». Я пошел. На дворе мальчуганы играли з альчики. Из.дома доносились веселый говор и песни. Я пробрался внутрь. Народу было набито битком. Были и женщины. В середине стоял большой казан, наполненный неприятно пахнущей бузой. Хозяин, налив себе в деревянную чашку бузы, с песней обратился к Сары-хоже — так назывался тамада этой гулянки. Хозяин попросил удостоить его дом весельем красивых речей, звучными песнями джигитов, установить порядок празднества и справедливо управлять обществом.

Старик Тастемир — Сары-хожа — сидел на почетном месте и слушал хозяина дома. Важно взяв преподнесенную чашку с бузой, он начал давать распоряжение, как провести «жора» у такого-то мурзы, как он величал хозяина, и такой-то красавицы-девы, как он называл некрасивую, довольно пожилую хозяйку. Говорил он остроумно, иногда подпуская солоноватую шутку. Все смеялись его остротам. Тамада установил наказание за нарушение порядка: выпить до дна столько-то кесе бузы, спеть столько-то куплетов песни, или рассказать небылицы, или

ржать по-лошадиному и так далее в этом роде. Этот кодекс он расчленил на отдельные статьи и для соблюдения порядка выбрал себе двух «жасаулов», которые немедленно встали с места и, приложив руки к груди, в песенной форме представились таксыру — господину, присягнули ему в верности и в исправном «несении службы «под тенью господина Сары-хожи». Тастемир установил, что ко всем положено обращаться только на «вы», что здесь все джигиты — мурзы, женщины — первые в мире красавицы. «Кара-соз» — «черным словом» (прозой) обращаться [50] друг к другу можно только с его позволения, а все должны говорить между собой только языком песни. Многие, испугавшись, стали просить у Сары-хожи некоторого смягчения этих условий.

— Мы подумаем, — сказал Тастемир важно. — Сары-хожа два раза не говорит, примите мои повеления, грешные подданные!

Все хором отвечали:

— Хуп, таксыр! — Слушаемся, господин!

Начали пить бузу. Тамада произносил хвалебную речь в честь хозяина и хозяйки. Жасаулы ходили по рядам, следя за порядком.

— Эй, жасаул! Все ли спокойно в моем подданстве? — спрашивал Сары-хожа, на что жасаулы льстиво отвечали ему: «Кто же посмеет в ваше царствование нарушать установленный вами порядок? Мурзы счастливо проводят время с красавицами-девушками».

— Народ не жалуется? — спрашивал повелитель.

— Нет, — отвечали жасаулы, — бузы много, дом освещен красотой райской девы-хозяйки, на душах весело, сердца джигитов и девушек резвятся, как молодые жеребята.

Подобный диалог продолжался, пока кесе-чаши не обходили всех два раза. На третий раз жасаулы начали находить нарушителей порядка, подводили их к тамаде, и он, выслушав стороны, объявлял свой справедливый приговор.

Иногда просто один из подданных поднимался с места и просил разрешения у таксыра высказать жалобу.

— На кого? — спрашивал Сары-хожа.

— На девицу такую-то.

— Жасаулы, привести сюда девицу! — повелевал хожа.

Жасаулы вели смущенную женщину сквозь ряды к трону хожи. Начиналось слушание дела. Жалобщик острил, разыгрывая из себя потерпевшего, а женщина, не растерявшись, отбривала его тоже остротами. Если в этой пикировке стороны оказывались равными, к допросу привлекались свидетели сторон. Импровизированный процесс кончался победой остроязычных, и бий выносил приговор.

Начиналось приведение к исполнению решения бия: осужденные или пили, или мычали, или острили, или [49] смешили всех какими-нибудь трюками. В таком импровизированном кабачке в своеобразной самодеятельности проходили зимние дни за днями. Правда, иногда жора завершалась дракой, но на следующей жоре поссорившихся мирили обменом кесе и публичным приношением извинений друг другу.

Несмотря на то, что отец разрешил мне пить бузу, я никогда не брал ее в рот. Противный запах и вид, напоминающий помои, во мне и по сей день вызывают отвращение.

Итак, люди нашего аула жили неплохо, многие обзавелись верховыми лошадьми. На станции Бурное по воскресеньям проводился базар. Туда ездили все мужчины аула, там встречались со знакомыми. Свидания назначались так: «Встретимся на будущем базаре». Властями на базарной площади была установлена трибуна. В послеобеденные часы на ней выступал оратор с новостями и разъяснениями перед конной толпой. На базаре иногда разыгрывались конные межродовые драки или вспыхивали ссоры между группировками аулов. Одна конная масса, размахивая плетьми, налетала на другую, разъезжались и набегали друг на друга по нескольку раз и, пролегая, наносили удары плетьми. При этих драках больше всего страдали не сами дерущиеся, которые были верхом, а пешие узбеки и русские, которых нередко сбивали кони.

* * *

Отец начал учить меня арабскому и русскому алфавитам. Арифметике, правда, нерегулярно, но все же учил. Заставлял меня помогать по хозяйству ему и дяде: поить лошадей, подкладывать им клевер, ездить на волах при бороновании посева и на току, при обмолоте.

В долгие зимние вечера отец развлекал нас сказками, обучал песням, читал нам вслух книги, по-видимому, на чагатайском наречии, так как мне запомнились некоторые особенности этого диалекта: «боладур», «геладур», «берадур», «ушбу» т. д. Отцу постоянно приходилось разъяснять нам значение тех или иных непонятных слов.

* * *

Первые годы советской власти в нашем краю прошли очень бурно, в своеобразной классовой борьбе, в условиях родовых распрей, создания аульных группировок и [52] шантажей еще не сложившей оружия полуфеодальной знати — биев, волостных управителей, баев, которые стояли за спиной своих бедных родственников и вели ожесточенную борьбу за власть в ауле, в волости и за влияние в уезде.

Борьба развертывалась обыкновенно накануне выборов. В этой борьбе волостным воротилам удавалось отвлекать внимание простого народа от классовой борьбы, искусно используя родовые чувства и межродовые распри. Аулы волновались от группировочных шантажей, сплетен, ложных доносов, клеветы, взяток. Но уже всходила над аулом заря новой жизни, настала пора равенства, и это заставляло постепенно выпрямляться бедняков. Часто приезжали уполномоченные, которые на собраниях разъясняли смысл новых порядков, права бедняков и выборщиков, которые проводили выборы. Уполномоченных народ редко знал по имени, по фамилии и часто давал им клички по их внешним признакам и характеру. «Волосатый уполномоченный» — так прозвали одного за пышную шевелюру (в те времена казахи впервые увидели своих сородичей, носящих длинные волосы). «Синебородый уполномоченный», то есть с бритой бородой, называли другого (казахи в то время не брили бороду). Был уполномоченный по кличке «Боевой приказ». Его прозвали так потому, что он каждое свое распоряжение считал боевым приказом. Уполномоченные почему-то очень часто менялись. В народе шли разные толки, но мой детский ум не вникал во все детали.

Отцу к этому периоду было уже под шестьдесят, и активного участия, как бывало прежде, в аульной жизни он не принимал. Зато дядя перестал быть домоседом, ездил на все собрания. Его выбирали десятским, пятидесятским, сотским, делегатом, председателем аулсовета, председателем союза косши. Одно время он был наибом — заместителем председателя волостного союза косши. Был дядя несколько раз под угрозой ареста из-за доносов своих противников, и тем самым нагонял тревогу на всю нашу семью, особенно на бабушку, но все обходилось благополучно. Как дядя ни старался, но все-таки «в люди не вышел». В этом играли главную роль не столько его ограниченные способности, сколько интриги аульных воротил. Серкебай при встрече гневался, называл его бестолковым, не умеющим бороться за пост, говорил, [53] что он своим дурным поведением позорит память своего деда по материнской линии Текебай-бия, что он ленится читать коран, и потому его не поддерживают духи предков.

— Шесть месяцев и любой воробей может старшинствовать, когда настоящие люди попали в черный список, — издевался он над дядей. — А вот я до сих пор остаюсь Серкебай-бием, достойным сыном своего святого отца Текебай-бия, — хвастался он и ударял камчой оземь. — А ты, отпрыск, как пьяный мужик, валишься с одного поста на другой.

Дядя пытался ему разъяснить новые порядки.

— Яйцо курицу учит, — зло иронизировал Серке-бай. — Учи, дурак, умного!

— Но ведь ваше время прошло...

— Что? Что? — бесился Серкебай, тыча в грудь дяди плеткой. — Как ты сказал, отщепенец? Как ты сказал?!

— Ничего, просто так вышло, — бормотал дядя.

— Я тебе покажу, как огрызаться! — задыхался старик. — Я из тебя выбью твой новый порядок. Ты у меня будешь ласковый, как теленок на привязи! Ишь ты, какой нашелся мне соперник!

Дяде оставалось только молчать и, чтобы не получить от разгоряченного старика удара плетью по спине, выбрав удобный момент, улизнуть из юрты.

Старик еще долго ворчал и бранился:

— Ой, какая необузданная молодежь пошла! Какое время пошло! — говорил он сам с собой. — Эх, заман! Заман! (Время, время!). Жаль, что этот дуралей родней приходится, а то бы розорвал его на части...

Потом, многозначительно нахмурив брови, закусив бороду, он обращался к бабушке и снова начинал в бешенстве кричать:

— Зачем ты, апкэ, мне родила такого племянника?

— Как же, милый, — растерянно и виновато отвечала бабушка, — сам народился, уж аллах дал...

— Да! Своя рука — не отрежешь, черт бы его побрал! Эти незнатные бедняки на голову мне лезут, как мошкара, — кричал Серкебай, — даже родной племянник мне говорит: «Ваше время прошло». Каково мне это слышать!

— Ты уж прости его, Серкеш, парень просто проговорился, — боязливо шептала бабушка.

-Проговорился! Хе-хе! — зло смеялся Серкебай. — Я ему проговорюсь! Я заставлю всех этих бедняков драться за обглоданную моей собакой кость. Хе-хе! И они сцепятся, как голодные волки.

— Ты что, Серкеш, своего?! — испуганно вопрошала бабушка.

— Эй, ишак! — кричит Серкебай. — Войди-ка в юрту. На такой зов возвращался дядя.

— Встань на колени и проси у меня прощения! — приказывал старик.

Дядя стоял в нерешительности.

— Что же ты, Момынтай, проси прощения у дяди, оп ведь тебе родной, — уговаривала бабушка.

Дядя, преодолев самолюбие, становился на колени.

Серкебай, разбрызгав весь яд своего гнева, прощал его...

Так в моей детской памяти запечатлелась классовая борьба того времени в нашей семье. В аульном и более крупном масштабе она будет описана в свое время в той хронологической последовательности, как мною воспринимался и осознавался общественный быт аула, волости, района, области... А пока не будем забегать вперед.

* * *

«Равноправие женщин», «отменяется калым», «право выходить замуж за любимого» — вот первые, услышанные мною в годы революции слова о раскрепощении женщин.

А бабушка нам говорила:

— Калым — дорога, проложенная отцами и матерями. За мою мать брали калым, за меня брали калым, дочерей выдавали замуж и сыновей женили с калымом. А как же теперь без калыма? — возмущалась она. — Что это за невеста, даром пришедшая в чужой дом? Какое к ней уважение будет? Муж даром взял и даром прогонит. Калым не брать — значит приданое не давать, той не устраивать. Что за интерес?! — причитала она. — Нет, пока я жива, ни за кого без калыма не выдам замуж. Пойдете по моим следам. А когда я умру, делайте что хотите.

Мои сестры, ничего не понимая, смотрели на бабушку. Ее строгий взгляд, повелительный тон смущали их, вид у них был беспомощно растерянный.

Желая восторжествовать над их детским горем, я вскочил с места и спросил бабушку: [55]

— А ты меня как женить будешь?

Бабушка рассмеялась.

— Вот, сначала выдам замуж этих шерстоголовых, получу за них много скота, разбогатеем, тогда тебе подыщу красивую невесту, уплачу большой калым и женю тебя, — сквозь смех ответила она и добавила: — Дай аллах, дай аллах дожить до этого!

Сестры косо и враждебно смотрели в мою сторону: из-за меня, за мою красивую невесту бабушка хочет продать их. Я же, бросив на них уничтожающий, высокомерный взгляд, вышел и побежал к пруду играть.

День был ясный. Горы отражались в воде. Я увлекся своими глиняными сооружениями, как вдруг кто-то меня повалил и начал бить, мазать грязью. Это оказалась моя вредная, самолюбивая младшая сестренка. Я бросился за ней. Она побежала еще быстрее и, взобравшись на крышу, спряталась в копне, что ставили у нас на крышах, чтобы скот не щипал сено, и оттуда начала дразнить меня:

— Ой, как черт, грязный! Плакса, а еще на красавице хочет жениться! — Потом, схватив кусок кирпича, она вышла из копны, и, приняв гордую позу, сказала: — Ни одна красивая девушка за тебя не выйдет замуж, если она не дура.

— А я скажу бабушке, чтобы она тебя выдала замуж за хромого, паршивого, беззубого, безносого... — начал я перечислять скороговоркой.

Тогда сестра, разозлившись, метнула в меня кирпич.

— А я не пойду!

Я увернулся от ее «снаряда» и отступил, а сестра, разозлившись, что не попала в меня, так быстро затараторила, что я ровно ничего не мог понять.

Так началось мое первое столкновение с угнетенным женским населением. Так первая женщина, моя младшая сестренка, защищая свои права, вступила в «войну» со мной, «калымоплателыциком».

Бабушкин приговор осуществился. Моих сестер выдали замуж «по бабушкиному следу», получив за них калым.

С малолетства Убианна была помолвлена с сыном Жарылкапа — Мамытом, из рода Шегир, населяющего подножие гор Шакпак, что по-русски означает кремень. [56]

Говорят, что Жарылкап был зажиточным и приходился родственником нашим ниязовцам. Когда у казахов родство по женской линии отделяется несколькими поколениями и связь между ними начинает ослабевать, то иногда, чтобы снова поддержать эту связь, «обновляют кость». По-видимому, это обстоятельство и послужило причиной обручения Убианны с Мамытом... Семья Жарылкапа пострадала от джута и окончательно разорилась. Отец и мать умерли, а Момыт, уже взрослый юноша, и его брат, мой сверстник, перешли на попечение Сайлаубая Ниязова — богатого сына Нияза. Сыновья Нияза делились на две группы семей, по их матерям: дети старшей жены носили кличку «сыновья смуглой бабушки», и второй жены — «дети белой бабушки», их еще звали «сыновья Айдын». Ниязовцы, за редким исключением, были косноязычно-картавыми. Момыт был у них в работниках, а младший его братишка пас ягнят.

Я их помню с того лета, когда они прикочевали к нам на джайляу. В тяжелые годы ниязовцы почему-то избегали нашего аула, а потом, когда народ стал жить немного лучше, снова появились в нашем стане. Их скот приносил много вреда земледельцам, травил посевы и сенокосы, но так как многие из оседлых были их косши, ниязовцы оставались господами положения. Земледельцы их недолюбливали. Особенно была невыносима их мать, глубокая старуха, полоумная Айдын. Она ходила всегда грязная, оборванная, с развевающимися седыми волосами, которые трепались по ветру из-под наброшенного на голову платка. Она вечно носилась по полям, от стада к стаду, пешком, бранилась и кричала на всех своих сыновей, на пастухов и просто встречных. Ей казалось, что если она сама не проследит, то кто-нибудь обязательно украдет у нее из стада теленка или барана. Ночами она не спала и сторожила загон от волков и воров. Всю ночь ходила, покрикивая, как филин: «Уй-уу»... Я никогда не видел ее сидящей, она всегда куда-то бежала. Старуха была настоящей бабой-ягой, страшилищем для

всех детей. Все население аула избегало встреч с ней и боялось ссор. При встречах она бранилась. Вела свою отару через посевы и покосы, и ей ничего нельзя было сказать.

Все сыновья Айдын были страшно скупы. Скупились они и для себя: одевались, кое-как закрыв свое тело, ели [57] что попало. У них пропадало сотни литров молока и кумыса, но они ни за что не давали другим. Их ненавидели, но общая собственность на землю и пастбища и боязнь ненормальной старухи лишали кого бы то ни было из жителей аула желания высказывать свое, отношение к сыновьям Айдын.

Жители аула запугивали ниязовцев разными суевериями, приметами. Говорили старухе, что, мол, «луна покосилась», или «звезда не на том месте», или «туча не по тому пути пошла», и предсказывали, что случится беда с баранами, коровами и лошадьми. Испуганная старуха начинала расспрашивать, что ей делать, как предотвратить беду. Тогда другой, подставной, из соседнего аула, говорил:

— Это случается из-за гнева покровителя земледелия. Нельзя травить посевы и сенокосы. А для того, чтобы рассеять гнев святого, нужно два удоя молока овец и коров, которые побывали на посеве, отдать людям.

Старуха не соглашалась. Тогда придумывали еще какой-нибудь способ, чтобы убедить ее. На следующий день старуха носилась вокруг стада, оберегая посевы от скота, но через два-три дня обо всем забывала, и все шло по-старому.

Одному аульному шутнику Жамаку захотелось покушать свежей баранины. Но откуда взять? Он сделал маску из тыквы, проколол отверстия для глаз, носа и рта, надел эту маску и вывороченную наизнанку шубу, нацепил несколько колокольчиков на шею и стал поджидать на кладбище. Время было послеобеденное. Сын Айдыи Даутбай ехал на верблюде, возвращаясь с мельницы. Когда он поравнялся с кладбищем, Жамак, гремя колокольчиками, в маске и вывернутой шубе, с ревом выскочил из могилы. Даутбай оцепенел от страха и, потеряв сознание, упал с верблюда. Жамак несколько раз приводил его в чувство и кричал:

— Я один из твоих предков! Вы перестали нас поминать, мы голодаем... Смотри, вот луна горит, бурч будет... Я возьму твою душу, возьму души твоих братьев и весь ваш скот предам бедствию! Как приедешь домой, скажи своим, чтобы немедля зарезали пять баранов, читали коран по нас и угостили весь аул, а то пошлем мы на вас новые бедствия...

Жамак исчез, а смертельно бледный Даутбай под [58] вечер едва приплелся домой и рассказал, что видел привидение. Суеверные старухи кое-что добавили от себя и подлили масла в огонь. Начали резать баранов в жертву духу предков. В числе гостей, конечно, был и Жамак...

Вот в этой семье после смерти отца и матери проживали и бедствовали сыновья Жарылкапа. С ними и со старухой Айдын связано одно из моих самых страшных воспоминаний раннего детства. Младшего мальчика по имени Жарылкасын, который пас ягнят, видимо, кормили от случая к случаю. Насколько я помню, мы видели его всегда идущим за ягнятами почти голым, босым, обожженным горячим дыханием солнца. На черном от загара лице его поблескивали большие серые глаза, редко встречающиеся у казахов, и белые зубы. От недоедания он вечно жевал траву, и углы губ его были зелеными.

Однажды мы, дети, стали свидетелями сцены, потрясшей нас всех. Старуха Айдын, держа на руках отставшего ягненка, с ругательствами неслась по степи, догоняя стадо Жарылкасына, лохмотья и седые волосы развевались по ветру. Подбежав к Жарылкасыну, она начала избивать его палкой.

— Почему ты, сын греха, бросил ягненка? — ругалась она.

Мальчик безуспешно пытался вырваться, а она продолжала осыпать его бранью и бить по бритой головенке. Мы видели, как после каждого удара на голове ребенка вскакивали сине-красные шишки. Жарылкасын вертелся волчком, кричал, просил пощады:

— Апа! Апатай! Ой, больно!

Охваченная бешенством старуха поволокла его к старому колодцу.

— Вот я тебя брошу на съедение змеям.

Задыхаясь, визжал Жарылкасын, а она, схватив мальчика за ногу, опустила его головой в колодец. Мы подбежали. Жарылкасын хрипел, пытался цепляться за щебеночные стены колодца, но тогда старуха еще ниже опускала его, потом поднимала и опускала снова. Падали вниз мелкие камешки, хрипел теряющий сознание ребенок, а она все грозила, что бросит его вниз. Мы не выдержали и заплакали, закричали. Старуха не обращала на нас внимания. Только когда обессилевший Жарылкасын потерял сознание и безжизненно повис вниз головой, [59] старуха вытащил его и, сама устав, бросила не землю, присев рядом с ним, как хищная птица у жертвы. Когда бедный Жарылкасын очнулся, она потащила его в аул. Мы, потрясенные этой сценой, молча глядели им вслед. Играть нам не хотелось — перед глазами все время стояло обескровленное лицо Жарылкасына.

Вечером мы рассказывали об этом случае отцу. Он поднялся и пошел в юрту Ниязовых. Он нашел Жарылкасына во дворе. Мальчик был в бреду. Отец взял Жарылкасына на руки и принес к нам в юрту, попытался напоить его молоком, говорил ласковые слова, но мальчик ни на что не реагировал. Тогда отец положил его на постель у края юрты и задернул кошму, чтобы мальчика овевал свежий ветер. Нам он велел не беспокоить маленького мученика и вышел из юрты.

Жарылкасын лежал неподвижно, дышал тяжело, губы его побелели. Изредка он что-то невнятно бормотал и вскрикивал. Это все было так ужасно, что мы, затаив дыхание, не могли оторвать глаз от постели.

Отец вернулся, неся в подоле халата собранную им целебную траву. Отварив в котле растения, он отлил настойку в пиалку, поставил в холодную воду и, когда питье остыло, постарался влить его в рот мальчику. Сестрам велел положить примочки на голову. У мальчика был жар, платки быстро высыхали, и их часто приходилось менять.

В тревоге и суете вокруг Жарылкасына прошла бессонная ночь. Под утро, когда стало прохладнее, Жарылкасын открыл глаза и, придя в себя, оглянулся. Не понимая, где он находится, закричал и заплакал. Отец ласково его успокаивал:

— Не бойся, не бойся! — и, отворачиваясь, гневно проклинал злую старуху: — Ох, будь она проклята, сумасшедшая Айдын!

Потом он взял Жарылкасына на руки. Сестра принесла отвар, и отец заставил Жарылкасына выпить всю пиалу, а потом выкупал его. Жарылкасына начала трясти лихорадка. Тогда его напоили молоком и, укутав, снова положили в постель.

Уже рассветало. Жарылкасын уснул, мы тоже пошли спать. Так он пролежал у нас больше недели, пока не поправился. По примеру отца, и мы старались окружить его вниманием и нежностью. [60]

Суеверная Айдын признавала в ауле только моего отца. По-видимому, это было связано с воспоминанием молодости. Когда она была привезена в аул, в жены к троюродному брату моего отца, уважение аула к молодому Момышу передалось и ей. Она и в старости звала его не по имени, а «грамотным юношей», и, видимо, его авторитет заставлял Айдын обходить нашу юрту, где нашел пристанище Жарылкасын. Через некоторое время ее сын Сайлаубай заявил свои права на Жарылкасына. Я помню строгое лицо отца и гневные его слова:

— Его отец, — он показал на Жарылкасына, — был не менее состоятелен, чем ты, был человеком не хуже, а лучше тебя. Почему ты уверен, что твоих сыновей не постигнет такая судьба, как этих сирот? А что, если бы из-за этой безумной старухи умер мальчик, и род Шегиров приехал бы сюда требовать кун ***(плата, штраф за увечье, за убийство)*** за убитого? Подумай об этом, Сайлаубай, что бы с тобой стало? — Он еще долго читал нравоучения и закончил словами: — С твоей матерью я сам поговорю.

Несчастный Жарылкасын, когда его уводил Сайлаубай, долго оглядывался на нас, будто его вели на казнь.

Старуха Айдын после разговора с отцом ненадолго притихла, но потом все началось сначала.

Так вот, моя сестра Убианна была помолвлена с братом Жарылкасына и впервые в ауле увидела своего будущего жениха, поближе познакомилась с ним. И тут-то началось «несогласие их сердец». Отец долго стоял на своем и не хотел нарушать данного слова. Упорствовал отец года три, пока бабушка как-то не посочувствовала горю и не повелела расторгнуть помолвку. Об этом сообщили Момыту и обещали ему вернуть полученную часть калыма.

Но судьба многих женщин в ауле сложилась не так, как судьба моей сестры. Мне не забыть появления в ауле красавицы Зейпы, дочери Нуртая, известного в роде Байтана, почтенного и состоятельного казаха. Вся его семья

была как на подбор: пятеро сыновей были рослыми, стройными джигитами-красавцами с немного выдающимися вперед крупными передними зубами. Это придавало [61] им своеобразную надменность. Им было дано прозвище «куректистер», то есть «зубы-лопаты».

Единственная дочь Нуртая Зейпа была похожа на братьев. Я помню ее с первого дня ее приезда в наш аул, когда она в костюме молодой снохи слезла с коня и с гордо поднятой головой шла по аулу. Она стала женой уродливого пятого сына Нияза от Айдын, заикающегося Даутбая, у которого не так давно умерла первая жена. Как говорят казахи: «Хоть с кривым ртом, пусть байский сын речь держит», или «Длиннорукий (богатый) берет то, что ему нравится, короткорукий (бедняк) довольствуется тем, что ему достанется»...

Итак, этот неотесанный и недалекий умом, уродливый коротышка протянул руки к красавице Зейпе, а скот и состояние, большой калым сделали возможной его женитьбу на ней. Может быть, в день этого печального и неравного брака какой-нибудь влюбленный удалец, убитый горем, сидя в юрте, гневно проклинал судьбу и закон, разлучивший его с любимой Зейпой.

Зейпа была стройной, высокой, с гордой осанкой. Ее продолговатое лицо с прямым носом напоминало лица армянок: страстные, огненные глаза, прямые длинные ресницы, большой, но красивый рот... Она ходила уверенно, ступая по земле свободно, как ее хозяйка, пренебрегая всем окружающим. Такое независимое поведение вызвало в ауле толки об ее невоспитанности: по казахскому обычаю, молодая сноха должна быть тише воды, ниже травы. Зейпа смело нарушала установленный аульный Этикет: она не склонялась ни перед Айдын, ни перед старшими братьями мужа, ни перед их женами. В ее взгляде, голосе и поведении всегда чувствовалось презрение и к мужу и к его родне. Попытки Айдын и ее отпрыска привести гордую женщину к покорности не увенчались успехом... Волевая и независимая Зейпа одним уничтожающим взглядом заставляла их молчать. Даутбаю доставалось и от матери и от братьев за то, что он, муж, не умеет держать в почтении жену свою. На все это и на свою судьбу Зейпа, казалось, смотрела с иронической издевкой, черной работой она не занималась, вела себя как аристократка, и от своей свободы отказываться не собиралась.

С другими ниязовцами и с нашей семьей Зейпа была в достойно тактичных отношениях. Такой я помню ее в [62] первые годы замужества. К нам она прибегала часто, видимо, желая вырваться из того мира. Я помню ее красиво сидящей на кошме, с откинутой головой, с белым жемчугом зубов, в белоснежном кимешеке и в необычайно красиво повязанном кундик-жаулыке ***(женские головные уборы).*** Я всегда смотрел на нее не отрываясь: какие-то неясные движения чувств рождались в моей душе, неосознанное сочувствие и восхищение, наверное, были написаны на моем лице. Зейпа это замечала и была особенно ласкова ко мне.

С наступлением осени ниязовцы откочевывали на зимние пастбища к Аккулю и проводили зиму невдалеке от аула Нуртая. К этому времени Зейпа родила дочь-первенца, точную копию Даутбая, и... ужаснулась. Угнетенная всем окружающим, своим горем, она выгнала мужа из юрты и ушла из аула к отцу. И никто не посмел ее остановить.

Начались переговоры о ее возвращении. Зейпа и Нуртай наотрез отказались. Тогда ниязовцы прислали вестника к моему отцу и ко всем нам, усеновцам, с просьбой приехать к ним на помощь, чтобы ответить на обиду, которую они терпят на чужбине, говоря, что уход жены является не частным делом мужа, а целым событием, налагающим пятно на честь рода. И хотя усеновцы ненавидели ниязовцев, они обязаны были защищать честь рода, и около двадцати всадников во главе с моим отцом отправились на выручку ниязовцев. Этот конфликт был значительным событием во всем округе, по сравнению со всеми остальными семейными неурядицами. Нуртай был крепким и влиятельным человеком, и не так-то легко было его склонить. По бийским обычаям, иногда уговаривали, иногда действовали угрозами. Переговоры длились почти целую зиму, а клубок все запутывался и запутывался. Некоторые из наших всадников возвращались обратно. Взамен их уезжали новые. Весь аул жил ходом этой борьбы. Приезжавшие рассказывали, где, в каком ауле шли переговоры, кто и как вел себя, кто что говорил... По рассказам вестников, мой отец, как старший из усеновцев, вел себя как настоящий глава делегации, проявлял дипломатический такт и ораторский талант в бийских спорах. Но Нуртай был неумолим, он не [63] хотел возвращать дочь и предлагал за нее крупный выкуп. На это не соглашались наши.

В то время заботы у казахов были ограничены. Подготовка к весеннему севу из-за малой обрабатываемой площади не представляла собою ничего серьезного. Примитивный сельскохозяйственный инвентарь можно было привести в порядок за два-три дня. Поэтому зимний период мог смело считаться периодом безделья, во время которого мужчины тратили вечера на распивание бузы, дни — на посещение дальних родственников, разъезжали на конях по гостям. В это свободное время какой-нибудь конфликт был лучшим поводом для приезда в тот аул, где происходили события, а тут перетрусившие ниязовцы официально пригласили усеновцев на выручку и действительно нуждались в их помощи. Наш аул, по-видимому, с удовольствием откликнулся на их зов: во-

первых, усеновцы были не прочь совершить эту веселую прогулку, а во-вторых, имея зуб на скупых ниязовцев, они хотели покормиться у них согумным мясом.

В зимний период скот не держался в теле из-за скудного корма, поэтому каждый казах старался в ноябре или в начале декабря, пока со скота не сошел жир, накопленный на обильных пастбищах в летний сезон, зарезать несколько баранов, двух-трех нагульных кобылиц. Заготовка доброго мяса на всю зиму и весну и называлась согумом. Такой запас мяса в холодное время года не требовал особых забот для его сохранения. Казахи по характеру и по традициям народ весьма гостеприимный, а наличие такого запаса обязывало угощать гостя бесбармаком. Если хозяин не делал этого, его все осуждали. Правда, в нашем районе на согум резалось не столько скота, как в других районах, а гораздо меньше. У нас, земледельцев, рацион в будни был более ограниченный и не каждый день мясной. Мы довольствовались супами, употребляли большое количество хлеба и крупы. Хозяйка дома варила бесбармак лишь по какому-нибудь торжественному случаю в семье или в связи с приездом гостя, поэтому лучшие куски из нашего согум а всегда сберегались для гостей. Бывали дома, где мяса было мало, его заранее делили на куски и берегли для желанных гостей, которые, по мнению хозяев, должны были прибыть в эту зиму. В устной хозяйской «домашней книге» разные куски носили названия: доля такого-то... Поэтому [64] мы, детвора, всегда радовались гостям и были приветливы с ними, так как знали, что в день их посещения будет обязательно бесбармак. Кстати, должен сказать об особенности бесбармака в наших краях, отличающей его от бесбармака степняков-скотоводов.

В нашем бесбармаке больше теста, чем мяса, а у степняков на целого барана шло не более килограмма муки, то есть, каждый щедр тем, чем богат. Недостаток в мясе заставил наших хозяев придумать новое блюдо и подавать своеобразное первое и второе, как у русских. У нас сначала поили гостей чаем, так как мы не могли поставить на стол полбарана, как степняки. Сперва блюдо наполняли тестом и подавались вместо закуски кости с мясом. Пока гости ели, обгладывали кости, готовилось второе блюдо с основным мясом. Второе блюдо называлось «нарын», или «тураганет»: мясо разрезалось на мельчайшие куски, тесто — так же, все это заливалось наваром — бульоном и получалась своеобразная густая лапша. Однажды гостивший в наших краях степняк, привыкший набивать полный рот мясом, принимаясь за второе блюдо, со стоном схватился за челюсть. Сидевшие рядом встревожились, думали, что с гостем случилось несчастье. Тот, не смущаясь, сказал:

— Ой, ой! Величиною с ноготок мясо на зуб мне попало.

Так скотоводы-степняки издевались над нами, землепашцами...

Так почему же нашим свободным усеновцам не наслаждаться вольной жизнью, числясь в гостях, для которых ниязовцы обязаны были расходовать свой согумный запас? Каждый день гостило человек по двадцать-тридцать, ведя бесконечные переговоры по конфликту. Устав от этих дел, посредники давали враждующим сторонам два-три дня на обдумывание предложений, сделанных биями, а сами разъезжались на отдых, гостить у своих дальних родственников. Потом снова собирались, и эта своеобразная «межродовая ассамблея» длилась полтора — два месяца.

Нуртай стоял на своем, и Зейпа не хотела ни за что возвращаться к нелюбимому мужу, в нелюбимый аул. Видимо, у Нуртая заговорило отцовское чувство к своей единственной дочери, судьбу которой он так печально решил. Казалось, он хотел загладить свою вину. [65]

Требования наших сделались настойчивыми и решительными. Нуртай, утомленный затянувшейся борьбой, предложил решить вопрос «войной». Его первым предложением было, чтобы зять, ненавистный ему Даутбай, назвал имя любого из его пяти сыновей и пошел на поединок. Если победит Даутбай, то он возвращает ему дочь, если же победит сын, то Даутбай платит штраф и лишается права претендовать на жену и возврат калыма.

Наши, взглянув на заикающегося, хлипкого, тщедушного Даутбая и предвидя верное поражение, не могли согласиться.

Тогда Нуртай предложил:

— У меня пятеро сыновей, я — шестой, здесь ниязовцев тоже шесть. Выйдем равными друг против друга. От этого наши усеновцы отказаться уже не могли.

И вот все усеновцы, кроме ниязовцев и представителей такого же коленного родства — нуртаевцев, поднялись на сопку в роли зрителей у аула Нуртая. Шестеро нуртаевцев выстроились на исходную позицию против шести ниязовцев. Стороны были вооружены плетками, чокпарами ***(чокпар — палица — боевое оружие старины, тяжелая дубинка с шарообразным утолщенным концом)*** и камнями, спрятанными за пазухой. По условному

сигналу стороны галопом помчались друг на друга. Во время проскоков враги бросали друг в друга камни. При столкновении коней пускались в ход чокпары. Борющиеся проносились мимо друг друга, снова возвращались и снова налетали один на другого. В три захода нуртаевские сыновья ловкими ударами своих чокпаров уже свалили трех неуклюжих ниязовцев. Тут, подогретый победой, один из сыновей двоюродного брата Нуртая, стоящий среди зрителей, не выдержал, с гиком скатился с сопки и бросился на ниязовцев, седьмым. Это было полным нарушением условия. Тогда мой дядя, горячий Момынкул, молниеносно соскочил со своего коня, подбежал к моему отцу и потребовал, чтобы тот сошел со своей гнедой кобылицы. Отец, растерянный, подчинился ему.. Дядя взлетел на кобылицу, схватил лежавший длинный кол и помчался на нуртаевцев. Он носился по полю битвы, как когда-то на диком кашагане, догоняя и сбивая нуртаевцев, и мгновенно выровнял счет. В конце боя дядя свалил с коня самого Нуртая, и Нуртай, потеряв [66] сознание, остался лежать на земле. Исход боя был решен. Оставшихся в седле нуртаевцев дядя преследовал до самого аула. Мой отец бросился к Нуртаю и приподнял его голову. Нуртай, придя в себя, спросил:

— Это ты, Момыш?

— Ты же сам хотел этого, Нуртай, ты же не хотел по-мирному, — ответил отец.

Старик Нуртай, махнув рукой, слабым голосом сказал:

— Будь ты сам бием — судьей. Ах, как жаль, что тот дурак вмешался!

Отец дал знак прекратить бой, сойти с коней и на два дня разойтись и подумать.

На третий день Нуртай прислал гонца. Наши приехали в аул к Нуртаю.

Отец присудил небольшой штраф Нуртаю, как нарушителю пути, «протоптанного дедами и отцами». А Зейпе пришлось вернуться в ненавистный дом.

Дядя всю жизнь любил хвастаться своей победой, считал себя спасителем чести не только Даутбая, ниязовцев, но и нашего маленького рода усеновцев.

Отцу это не нравилось, поэтому он всегда укорял своего брата за неблагородный удар, нанесенный старику Нуртаю.

— А что тебе, сыновей его было мало? — говорил он. Мне пришлось увидеть Зейпу через полтора-два года.

От той женской удали и независимости в ее характере не осталось и следа. Она, видимо, не следила за собой, опустилась. Былой белоснежный головной убор ее потемнел, в ее движениях уже не было той грации, и глаза ее не смотрели так вызывающе и гордо, они потускнели. Говорили, что она покорно переносит теперь жужжание безумной Айдын, а уродливый муж даже покрикивает на нее, проявляя мужскую власть.

Так феодальный обычай, жестокий закон родового устройства и темная сила калыма по-своему укротили строптивую Зейпу, убили в ней гордую человеческую душу и большие чувства. Она стала покорна своей женской судьбе.

... В 1954 году, когда я заехал в аул, чтобы выразить соболезнование семье моего умершего дяди, в числе запоздавших вошла в дом сутулая женщина с неряшливо опущенным на глаза платком. Я, не узнав еще, кто это [67] поднялся, чтобы приветствовать... Женщина с искренним движением души и ласковыми словами старшей обняла меня. Когда мы уселись на кошме, она начала расспрашивать, как мое здоровье в это «неровное время войны», и принесла извинение за свое опоздание. Тут, при свете керосиновой лампы, что была подвешена посреди комнаты, я узнал Зейпу. Она сидела изможденная. Тусклый свет подчеркивал темные линии морщин; беззубый рот ввалился. Я не удержался от возгласа:

— Почему вы так быстро постарели?

Зейпа кивнула головой и сказала:

— Как же не постареть? Ведь я восемь щенков твоему родичу принесла! — Это было сказано с горечью.

Старик Ошакбай покачал головой и неодобрительно бросил:

— Из всех женщин аула ты, Зейпа, самая счастливая. В дверь твоего дома не постучала война: и муж с тобой и дети при тебе.

— Все, кто носит мужскую шапку, оказались годными и пошли решать судьбу народа, защищать его честь, — ответила с вызовом Зейпа. — А Даутбая, видно, мать родила лишь для того, чтобы сторожить меня.

В ее словах я услышал то великое презрение к насилию, которое в глубине души Зейпы — жертвы калыма — до сих пор еще не умерло.

* * *

Вернемся к замужеству моей сестры. После расторжения отношений с Мамытом, когда об этом стало известно, к нам стали наезжать из других родов искатели невест или их посредники — сваты.

— Пусть выберет сама, коль не захотела выйти замуж за Мамыта, — решила бабушка.

Сестра подросла. Ее освободили от черной работы, стали лучше одевать и посадили за рукоделие. Она выучилась искусству вышивки, изучила все узоры казахского орнамента, научилась ткацкому делу, стала носить множество серебряных украшений на шее и на груди, в косах, на всех пальцах рук и на шапочке с перьями. Она пела песни, участвовала в айтысах, повеселела от своей свободной жизни и на все предложения давала уклончивые [68] ответы. Сестра и не заметила, как пошел ей двадцатый год. Ее даже стали упрекать, говорить, что она скоро станет старой девой.

Однажды к нам приехали двое верховых, один из них был Балтабай — из рода батырбековцев, а другой, с редкими пробивающимися усиками, — неизвестный джигит лет двадцати. Отца дома не было. Гостей потчевали чаем. Молодой, когда пил чай, все время сидел молча, смущенно тянул чай из пиалы. Он проронил несколько неловких фраз, обращаясь к сестре.

После отъезда гостей мы с младшей сестрой начали их копировать. Старшая сестра сначала смеялась, а потом почему-то рассердилась. Нас это забавляло, и мы до того громко смеялись, что оба получили по тумаку. Вечером приехал отец. Мы воспользовались отсутствием Убианны и, перебивая друг друга, рассказали отцу о гостях, карикатурно воспроизводя их жесты и мимику, а младшая сестра сказала: «Наверное, Убианне понравился джигит, потому что она рассердилась и побила нас за то, что мы показали, как они пили чай». Отец нас выслушал, посмеялся и велел об этом забыть.

Он нам рассказал анекдот о неловком джигите. Был один бай, живший с достатком во всем, и у него рос балованный сын. Этот сын объездил всю округу, осмотрел всех красавиц, но он был до того надменен, любил только самого себя и считал себя умнее всех, что ни одна девушка не устраивала его: одна казалась ему некрасивой, другая неумной, он хотел найти себе только умную и красивую. Но ни одна из встреченных девушек, по его мнению, не сочетала красоту и ум. Так он долго не мог подыскать себе невесты. Однажды он отпросился у отца в еще более дальний путь. Отец дал разрешение, и поехал джигит в дальние края, побывал в сотнях аулов, глазел на всех девушек и опять ему ни одна не понравилась... Остановился он в один из дней у белой юрты. К нему навстречу вышла красивая девушка, пригласила путника сойти с коня. Он слез с коня, вошел в юрту, сел и залюбовался красотою девушки, которая спокойно приготовляла кушанье для гостя.

Чай закипел. Девушка ловко и грациозно накрыла дастархан и стала угощать путника.

Джигит думал: красота ее мне подойдет, а умна ли она — дай-ка я ее испытаю. [69]

В дверь юрты на дворе видны были несколько пней разного размера, лежащие на земле.

— Девушка, скажите мне, пожалуйста, вот этих пней сколько сможет поднять лошадь? — важно задал он ей вопрос.

— Хороший конь по одному, а плохой по два подымет, — ответила спокойно девушка.

Джигит подумал: «Вот так дура! Плохой по два, а хороший по одному. Нет, не подходит она мне!» И, разочарованный, холодно попрощавшись с девушкой, уехал.

Приехал домой и рассказал отцу.

— Объехал я аулы и за семь дней нигде не встретил достойной меня невесты. Повстречал я одну красавицу, но она оказалась до того глупой, что на мой вопрос ответила, что хороший конь поднимет один пень, а плохой по два потянет.

Тут его прервал рассерженный отец:

— Дурак! Ты, значит, не понял ее слов! Она сказала, что ты по два баурсака тянул с дастархана. Не она, а ты глупец. — И он поколотил немножко своего неумного сына.

Этот рассказ отца рассмешил нас до слез. Мы с младшей сестрой прямо покатывались от смеха и в последующем разыгрывали встречу байского сынка с остроумной красавицей для всех аульных ребят. Это было веселое представление.

Через две недели снова, приехал Балтабай, но на этот раз один. Поговорив о чем-то с отцом, он уехал. Нас, малышей, не вводили в курс этих разговоров и отсылали играть.

Как-то мы с отцом были в районе зимовки. Отец косил клевер. Под вечер мы собрались возвратиться в аул. Вдруг приехал Балтабай. Отец отослал меня поискать брусок, которым точат косу. Я искал, искал и никак не мог найти.

Вдруг я увидел джигита. Держа коня за поводья, стоял молодой человек, знакомый нам: он приезжал в аул вместе с Балтабаем. Молодой человек подозвал меня, спросил как зовут и подарил мне несколько конфет. Хвалил меня, говорил, что я хороший мальчик и делал все, чтобы польстить мне. Я почуял что-то неладное и начал осматривать его с любопытством. Он был крупного телосложения, грубоватый, узколобый, с припухшими веками, [70] большим носом, загорелый. Пальцы его рук казались непомерно большими, и, когда он давал конфеты, я обратил внимание на его огрубевшие, мозолистые ладони. На этот раз он курил самокрутку из махорки. Одет он был неплохо, но чувствовалось, что эта одежда для него непривычна и сидит неловко. Когда я вернулся к отцу, Балтабай уже прощался с ним.

— Парень незнатный, простой и честный труженик, недавно вернулся из армии.

— Хорошо, Балтабай, мы подумаем. Дай нам время с сердцем согласовать, — ответил отец.

В сватаний первые посредники при переговорах назывались жаушами. Жауши подыскивали подходящих девушек по просьбе жениха. Под каким-либо предлогом они приезжали в аул к девушке вместе с будущим женихом, чтобы молодые могли увидеть друг друга, не объявляя пока никому об истинной цели своего приезда. Если джигиту нравилась девушка, он повторял свой визит. Жауши рекомендовал жениха и добивался согласия родителей на переговоры о калыме.

Балтабай в этой роли приезжал еще несколько раз и через полгода добился согласия на переговоры. Кажется, за это время сестра и Аюбай имели несколько «случайных» встреч на тоях, вечеринках и других торжественных сборах соседнего аула. Когда сестру спрашивали, как она относится к этому кандидату на ее руку, она, потупив глаза, отвечала, что, мол, она — теленок на привязи у родителей, что воля бабушки и отца для нее священный закон. Даже и я тогда понимал, что это означает «да».

Недели через две Балтабай привел человек семь верховых из родни Аюбая с официальным визитом. Приехали свататься. Начались переговоры о калыме. Установленный в наших земледельческих краях калым — шестнадцать кобылиц (в скотоводческих областях сорок одна) — обсуждению не подвергался. Возможны были эквивалентные замены: так, одна кобылица равнялась двадцати баранам или двум-трем коровам. Весь ход переговоров мне не был понятен, но я знал, что отец настаивал на тое и проводах девушки не раньше, чем через полтора-два года. Сваты не соглашались.

Теперь, вспоминая все детали разногласий между сторонами, я думаю, что отец настаивал на этих сроках подкалымного периода, желая иметь достаточный резерв [71] времени для свадебных приготовлений и подготовки достойного приданого, ибо он не был настолько богат, чтобы сразу закупить необходимое. Возможно, он настаивал еще и потому, что эти годы до замужества были периодом игры в подкалымную, что в настоящем смысле этого слова означало «ходить в невестах», когда молодые встречались на началах равенства. От старших женщин я часто слышал: «Я в невестах ходила два года и только на третьем году замуж вышла».

Этот период женщина Еспоминала с гордостью, как трогательную девичью пору. Возможно, отец хотел, чтобы у Убианны была именно такая пора. Но сваты стремились закончить все побыстрее: они не доверяли отцу, расторгшему уже одно данное обещание, и невесте, которая «вдруг возьмет, да и уйдет за это время к другому, по новому порядку, а потом — разбирайся». Все это усугублялось тем, что такие случаи уже были после официальной отмены калыма, и обычно родители «изменницы» не хотели и говорить о возвращении полученного скота или же возвращали ничтожную долю. Официально предъявлять иск было рискованно, потому что калым был объявлен вне закона. Вот почему сторона жениха, чтобы не остаться в дураках, старалась получить невесту немедленно после уплаты калыма. Бывали даже такие случаи: сначала под честное слово брали невесту, а потом платили калым. Но честное слово тоже бывало неустойчивым. Как всякое беззаконие, калымные переговоры совершались долго. Договаривающиеся с трудом преодолевали взаимное недоверие, потому что бывало и так: какой-нибудь прохвост свою дочь или сестру «закладывал» по нескольку раз, получая аванс от разных лиц в счет калыма, а после ничего не признавал.

Бывало, что получивший калым нарушал слово. Тогда обиженный находил в ауле обидчика какую-нибудь свою родственницу, которая была замужем за родственником обидчика, заманивал ее к себе в аул в гости и тогда бедную женщину всем аулом уговаривали не возвращаться домой, остаться в заложницах, пока обидчик не удовлетворит иск. Из-за сочувствия к обиженному, борясь за честь своего девичьего рода и за то, чтобы «не унижать свою кость», та соглашалась. Эта своеобразная барымта ***(насильственный угон скота)*** женщинами была одним из средств заставить получившего калым сдержать слово или оплатить неустойку.

Попадались девушки и женщины, которые смело пользовались своими новыми правами, бросая вызов феодализму, разрушая установленные вековые законы. Несколько позднее я был свидетелем женских «забастовок и бунтов», что в свое время изложу в дальнейших записях. А пока я хочу сказать, что казашкам и казахам очень трудно было порвать гнетущую традицию, несмотря на то, что калым был запрещен после Октября.

Однажды после базарного дня к нам в аул приехало десятка два верховых из аула Аюбая во главе с их почетным старцем Онгарбаем, двоюродным дядей Аюбая. Угощение было более щедрым, чем в первый раз, делались взаимные подарки. Переговоры закончились соглашением. Сваты уезжали в хорошем настроении, пожелав счастливого исполнения всего, о чем было договорено Через неделю нас пригласили в аул Аюбая за получением первой части калыма. Отец не поехал сам, поехал дядя в сопровождении десятка верховых из нашего аула. Через день они пригнали пять лошадей, пару волов, тридцать баранов. Кроме того, были сделаны подарки — в ответ на наши, преподнесенные при последнем визите.

Убианна ходила грустная. Я не знаю, но, возможно, она переживала свое новое положение «подкалымной» (помолвленной), налагающее ряд ограничений. Может быть, она была огорчена и потому, что ее собираются выдать замуж. Я внимательно следил за ней, вначале с братским сочувствием к ее грусти, потом с любопытством, но когда заметил, что все это притворство, я был очень огорчен, болезненно переживал первое столкновение с этой чертой женского характера. Моему разочарованию не было предела, потому что сестру я очень любил; она была мне не только сестрой, но и заменяла мать. Никто в нашей семье так не боялся ее ухода из дома, как я. Мой детский эгоизм и детский разум, видимо, полагали, что она вечно будет девушкой.

Полученный калым был немедленно продан. Дядя стал привозить с базара разные украшения и материалы для сестры. Убианна стала одеваться чище, наряднее и продолжала заниматься рукоделием. Наша юрта превратилась в своеобразную мастерскую, наполнилась узорными [73] тканями, вышивками, ювелирными изделиями. Бабушкино «обязательное» — «на новое место приедешь со всем жилищем, постелью и домашней утварью» — я понимал как приданое.

Через шесть месяцев Аюбай со своим товарищем Он-дасом в сумерках приехали для первой встречи с невестой. Жених остался невдалеке от аула в укрытой балке, а его товарищ с двумя сумками подарков пришел в аул и сообщил о цели их приезда: о первом свидании невесты с женихом наедине на всю ночь. С этого обычно начиналась игра с подкалымной невестой.

Увидев подарки, молодые женщины нашего аула поспешили достойно встретить жениха. Неожиданно сестра энергично запротестовала и отказалась встретиться с женихом. Все ее уговаривали, но тщетно. Она, бледная, задыхаясь, с гневом в голосе, сказала:

— Как ему не стыдно! Почему он так спешит? Ведь впереди еще целый год! Передайте ему, что за такую поспешность я стану только презирать его! — Как же так? — спрашивала она с возмущением. — Как же без моего согласия, без всякого предупреждения он смел приехать?!

— Что ты, милая? Таков обычай наших предков, да покоятся их души в раю... Он ведь твой жених! — начала было увещевать одна из родственниц.

— Пока я в доме отца, я ему не жена! — бледная, кричала Убианиа. — Если он повторит еще раз свой визит, я ему не невеста! — отрезала она. — Так и передайте ему.

Я был поражен, я никогда не думал, что наша Убианна, всегда такая спокойная и уравновешенная, вдруг может бунтовать, требовать таким не терпящим возражения тоном. Я как-то по-новому посмотрел на свою сестру, как будто увидел ее впервые. Она стояла, опираясь рукой о сундук, словно кто-то мог ее схватить и увести силой. Ее продолговатое лицо с прямым, тонким носом и нервными ноздрями побледнело еще больше. Тонкие губы дрожали, взгляд в гневном протесте перебегал с лица одной женщины на лицо другой. Ее худая рука с тонкими пальцами перебирали конец длинной косы с шолпой, как будто она хотела ею замахнуться. Гладкие темные волосы, зачесанные на пробор, подчеркивали строгость ее лица. За высокий [74] рост и тонкую талию она получила прозвище «Талшибык» — гибкая, как тальниковый прут. Эта гибкость и плавность в движениях придавали ей необыкновенную женственность и обаяние.

Получив отказ, жених, напрасно прождав часа три в балке, уехал со своим товарищем. Ондас хотел оставить сумки с подарками, но Убианна категорически запротестовала:

— Нет, нет. Не надо! Ради бога, умоляю вас, не оставляйте!

Поступок Убианны вызвал тревогу в ауле Аюбая. Оттуда начали засылать своих разведчиков — женщин, чтобы узнать о настроении невесты. Видимо, там раздумывали, следует ли платить оставшуюся долю калыма. Под разными предлогами женщины гостили у нас, говорили с нашими женщинами, с Убианной. Я к ним доступа не имел.

Женский мир наших аулов оживился: вступили в свои права уговаривающие, рекомендатели, устные почтальоны... Так прошло еще шесть месяцев. В нашем ауле продолжалась усиленная работа: катались кошмы, расшивались ткани, вышивались украшения... Приходили мастерицы, художницы по орнаменту, советчицы-старухи. Все готовые вещи вынимались и разворачивались перед ними, получалась целая выставка. Спрашивалось их мнение, женщины делали свои замечания, некоторые оставались помогать. Скот у нас все убавлялся и убавлялся, каждый базарный день что-нибудь да продавали и на полученные деньги покупали для сестры приданое.

Видимо, Аюбай через своих послов получил от Убианны согласие на въезд в наш аул. Как-то вечером снова появился Ондас с сумками. На этот раз все были с ним приветливы и вежливы, шутили, кокетничали, намекая на предстоящее свидание. На отлете от аула поставили юрту, Ондаса с сумками увели туда. Отау ***(юрта молодых или жилище отделявшейся от родителей новой семьи),*** где впервые должны были встретиться жених и невеста, была обставлен торжественно, туда пригласили Аюбая. Он и его товарищ сидели на почетном месте. Собралась аульная молодежь. Девушки и молодые женщины приоделись по-праздничному и пришли с «визитом вежливости» — знакомиться [75] с женихом; каждая из них старалась блеснуть красноречием, остроумием или просто кокетством; они звонко смеялись, но держались тактично, чтобы не показаться невоспитанными.

Некоторые задавали Аюбаю хитроумные вопросы, облеченные в форму загадок, вроде: «Откуда сегодня взойдет луна?» Неловкий Аюбай отвечал: «Кажется, давно взошла луна, ведь стемнело!» Его простодушный ответ и прямое понимание образного намека на невесту вызывали общий смех. «С какой стороны от вас звезда Шолпан и луна?» Аюбай отвечал, что не знает, так как он сидит в юрте. Женщины опять смеялись, Аюбай беспомощно смотрел на своего товарища, как бы жалобно прося: «Спасай, тону!»

— Не родня ли вам созвездие Большой Медведицы? — не унималась одна из женщин, явно издеваясь над тупостью Аюбая. Она намекала на легенду об этом созвездии — об украденной невесте и женихе, несущимся по небесам, — и с деланной тревогой вопрошала: — Быть может, с вами опасно знакомить светлую звезду?

Окончательно сбитый с толку, Аюбай неуверенно бормотал, что этих созвездий он не знает и что он никогда не был вором. Последние слова он произнес с ноткой обиды, что тоже вызвало смех.

— Вы когда ожидаете полнолуния? — спросила одна из женщин.

Аюбай ответил, что он не звездочет и поэтому не знает и что в их ауле тоже нет звездочета, у которого он мог бы это спросить. Взрыв смеха потряс юрту и окончательно сконфузил Аюбая.

Тут вмешался его товарищ Ондас. Теперь с ним началась пикировка. Но Ондас оказался из «стреляных птиц»...

Подали чай; затем ужин. Аюбай, сконфуженный и смущенный, терялся все больше. Пот лил градом с его лица. Жених вытирался то кушаком, то платком. После ужина Аюбая окончательно загнали в тупик в айтысе. Ондасу пришлось солировать. Аюбай только следовал за ним и подпевал. У него оказался грубый бас, и, несмотря на все старания, Аюбай с первой же ноты расходился со своим напарником, слов песни он тоже толком не знал.

Время приближалось к полуночи, и старшая тетка, управлявшая вечеринкой, дала нам команду — по домам, [76] разрешив остаться только нескольким женщинам — подругам и взрослым девушкам.

Меня больше не выпустили из дома. О последующих в эту ночь событиях я узнал от других спустя много времени.

Убианна, сидевшая в другой юрте, имела своих агентов и от них каждые пять-десять минут получала точные донесения из гостевой юрты. Когда подруги пришли за ней, чтобы повести ее к жениху и представить ему, она наотрез отказалась от свидания, и женщинам аула стоило много труда уговорить ее. Они сказали, что, мол, это нехорошо, так как жених и его товарищ приехали с се согласия как гости и теперь сидят и ждут свидания с ней. Долго шли уговоры, мольбы, приводились доводы, и наконец, под самое утро, перед рассветом ее уговорили и повели. Утомленные долгим ожиданием гости и в особенности Аюбай, которому порядком досталось на вечеринке, сидели подавленные и сонные. Когда ввели Убианну они не встали с места, как это требовали вежливость и такт. Убианна же наговорила им всяких дерзостей и, не подав руки, заявила, что, прежде чем в женихах ходить, нужно научиться отвечать на вопросы молодых женщин и девушек и уметь держать себя в обществе.

Резко повернувшись, Убианна ушла.

К этому времени уже начало светать, а по обычаю жених должен был покинуть пределы аула до рассвета. Женщины пытались успокоить Аюбая, говорили, что они сделали все возможное, что он сам тоже должен признать свою вину, скоро гнев невесты пройдет, и она остепенится. Жених после обнадеживающих разговоров вынужден был выехать до рассвета, а его товарищ Ондас попросил женщин не рассказывать обо всем происшедшем.

На следующий день Убианна швыряла все, что ей попадалось под руку, забросила работу над приданым и стала такой грустной, что мы все старались ее не раздражать. Спустя несколько дней она заявила, что не пойдет за Аюбая, но отец дал ей понять, что второй раз свое обещание он не собирается нарушать.

Аюбай в это время проходил в своем ауле «школу». И через два месяца повторил свой визит, чтобы выдержать экзамен. На этот раз женщины и девушки прикусили свои язычки, так что усиленная подготовка к новой встрече ему даже не пригодилась. [77]

Время шло. Жених приезжал почти каждую неделю. Убианна, видимо, примирившись с тем, что «написанного на лбу не стереть», не бунтовала, как прежде. Приданого все прибавлялось и прибавлялось, а скот у нас убавлялся.

Свадьба была уже не за горами. Ее приурочили к середине сентября, к самому концу уборки урожая.

Свадебные приготовления не прошли гладко. Аульные и волостные власти вызывали отца на допрос о калыме, или же сами приезжали к нам, угрожая разоблачением, пугали и другими способами — приводили уполномоченных. Отец, видимо, знал, что кое у кого из них тоже «рыльце в пуху», знал их психологию и понимал, что все это делается, чтобы получить взятку. Он говорил:

— Не я один в округе так поступаю, а если одному из вас дать кусочек, то завтра за такими кусочками явятся еще люди, подобные вам, а у меня не хватит состояния, чтобы угодить всем бездельникам. Всех бояться я не могу. Идите и доложите большому начальнику, а перед ним я готов держать ответ.

Спустя некоторое время привезли большого начальника (видимо, начальника участка милиции, куда входила и наша волость). И что же? Он с первого взгляда влюбился в Убианну и вместо допроса начал уговаривать отца выдать дочь замуж за него, обещая большой калым. Он был уже женат и хотел взять Убианну второй женой. Отец не мог пойти на это. Начальник старался уговорить, но, убедившись в непреклонности отца, впал в другую крайность — стал угрожать.

Скоро этого блюстителя порядка и самодура перевели с нашего участка на соседний, расположенный на территории Киргизии. Там по средам бывали базары, и группа киргизских джигитов побила его публично, гоняя с одного конца базара на другой. Опозоренный начальник был немедленно отослан высшими властями к себе в аул без права занимать какие-либо должности. Отец мне ничего не рассказывал, но я подозревал, что дело не обошлось без его рук...

Вскоре отец открыто объявил, что он выдает замуж дочь Убианну за Любая в такой-то день сентября и устраивает по этому случаю той, на который приглашаются все желающие весело провести два-три дня.

Недели за две до тоя Убианна отправилась в сопровождении двух молодых джигитов и трех женщин из нашего [78] аула прощаться со всеми дальними родственниками. Эта традиционная прогулка предусматривалась, по-видимому, для того, чтобы девушка в последние дни могла свободно подышать воздухом, повеселиться в окружении внимательных родственников как по женской, так и по мужской линии. У нас же, как и у других казахов, их был не один десяток: четыре сестры отца, два брата бабушки, мой родной дядя по матери, дядя и тетя по отцу, родня мачехи, родственники жен моих двоюродных и троюродных братьев. Короче, кровные связи и родовые корни были разбросаны в радиусе полутораста-двухсот километров от нашего аула.

Перед отправкой Убианны бабушка устроила своеобразную выставку приданого. День выдался ясный. Собрались все женщины нашего аула. Долго они советовались и наконец выбрали на отшибе близ аула зеленое поле и начали перетаскивать туда все приданое, раскладывать и разворачивать его на земле, как будто собирались сушить на солнце.. Сначала развернули большой бабушкин ковер, который она подарила внучке к свадьбе. Цветистые узоры ковра яркими красками заиграли на солнце. Рядом с ним положили второй ковер, поменьше, ковер моей покойной матери, привезенный ею в числе другого приданого. Женщины отдыхали и любовались красотой только что воздвигнутого громадного остова юрты, пересеченного квадратами клеток, опутанного множеством крашеных канатов, лент, кистей и бахромой. Потом накрыли юрту белыми кошмами, плотно подогнали их, укрепили веревками и петлями. Женщины приняли торжественные позы, и после маленькой паузы старшая из них обратилась к Убианне:

— Войди в свое жилище, светик мой! — пригласила она ее, указывая на дверь.

Сестра вошла первой, за ней остальные... Усталые от работы женщины присели на голую землю, и каждая по очереди начала выражать от всего сердца добрые пожелания счастливой жизни в этой юрте. Сестра, смущенная и, видимо, огорченная тем, что отделяется от родных, прослезилась. Женщины тоже вытирали слезы, вызванные воспоминаниями об их былой девичьей поре...

Отдохнув с полчаса, женщины вышли и внесли два больших сундука и другие вещи. Начали убирать, стелить [79] укладывать. Установили украшенную резьбой деревянную кровать, заправили ее, вытащили из сундуков свадебные одежды и развесили их над изголовьем кровати. В углу образовался своеобразный склад девичьего и женского платья. Женское платье было заготовлено, но сестра его еще не носила. Постелили на пол кошмы, ковры и, закончив внутреннее убранство новой юрты, все сели уже как гости. Внесли самовар, накрыли скатерть, рассыпали баурсаки ***(шарики из теста, отваренные в масле),*** урюк. Началось чаепитие. От мужского пола представителями были только мы, мальчуганы.

За чаем женщины вели деловую беседу, обсуждали, что еще желательно было бы добавить к приданому, что подправить. К концу чаепития тети начали дарить Убианне разные вещи, говоря: «Мое присоедините на память». Одни дарили чашку, другие — пиалу или чайник, миску, нож или ножницы или еще что-нибудь, необходимое в домашнем обиходе.

— Вот и дом готов! — говорили женщины. — Со своей юртой, со своим хозяйством приедешь. Ни от кого не будешь зависеть, а одежда и постель у тебя есть на двоих. Будь благодарна бабушке и отцу. Не всем такая удача навстречу идет.

Начали расходиться. Я, увлекшись баурсаками, урюком и разговорами, оказывается, так долго сидел в новой юрте, что проглядел то, что делалось за это время на улице.

— Апа! Сопровождающие прибыли! — крикнул дядя, стоявший снаружи юрты. Я пулей вылетел в дверь.

Разодетые две молодые женщины и девушки лет семнадцати, двое юношей, одетых прилично, но не парадно, были уже готовы к отъезду.

Женщины были одеты в ослепительные кимешеки и жаулыки, расшитые кораллами — моржанами. Под подбородками у них висели тумарша (серебряные треугольники, украшенные резьбой), на шпильках которых были нанизаны красные кораллы с круглой подвеской или монетой. Кундык-жаулык наматывается из десяти-пятнадцати метров материи, с кокардой-вышивкой в центре. Намотать кундык — это целое искусство; материю наматывали [80] так складно, что вечером кундык снимался, как корона, и не терял формы. Длинный хвост кимешека сзади висел как фата. На одной из женщин было пальто из черного бархата, подбитое спереди коричневым мехом и окаймленное серебристо-белым галуном. Из-под пальто видна была белая в оборках длинная юбка, пояс из красной материи с серебряной пряжкой пересекал в талии черный бархат. Другая была разодета тоже по-праздничному, только чапан у нее был из зеленого бархата, перетянутый расшитым многоцветным поясом с бахромой. Девушка была в высокой меховой шапке с голубым бархатным верхом, расшитым кораллами. На шее в несколько рядов висели коралловые бусы. Бешмет с серебряной застежкой у пояса подчеркивал тонкость талии и складками разбегался книзу. Бархат по обеим сторонам был обшит серебряными украшениями. Девушка тоже была в светлой трехполой юбке, такой широкой, что если бы она взялась за концы ее и закинула руки над головой, веер юбки не открыл бы ног. Она была в красных сафьяновых сапожках на каблучках.

По приглашению бабушки женщины вошли в юрту. Подруга поздравила Убианну с новой юртой и сказала, что они прибыли сопровождать ее в «счастливую поездку». Джигиты же стояли у входа, так как им было не положено входить в юрту невесты. После обмена репликами приступили к одеванию Убианны. Светлорозовое со множеством широких оборок платье в тяжелых сборках, синий бархатный бешмет сидели на ней хорошо. Совиные перья качались на меховой шапке. В косах, еще более удлиняя их, серебряными каплями звенели шолпы ***(украшение из серебра, которое вплетается в косы, девушек).*** Убианна обулась в расшитые сапожки на высоких каблуках. На шее было столько бус, что, казалось, их нельзя сосчитать. Грудь была покрыта множеством серебряных украшений разного размера и узора. На всех пальцах было по нескольку колец, браслеты сжимали запястья рук. Тут я впервые заметил, что ногти сестры были покрашены красной хной. Для казахов этот обычай не был типичным, и только наш район перенял его от узбеков.

Бабушка вручила невесте отделанную серебром и [81] медью камчу и пожелала счастливого пути. Все вышли из юрты.

Дядя подвел оседланного вороного иноходца. Сбруя коня Убианны отличалась от других более богатым убранством и блеском. Украшения Убианны, парадная сбруя для лошади делались и чеканились руками моего отца, ему помогал дядя и даже я.

Дядя и джигиты помогли женщинам взобраться на коней. Подошел отец, по его знаку все молитвенно сложили руки и, выслушав пожелания счастливого пути, двинулись.

После отъезда сестры в ауле шли завершающие приготовления к тою. Дядя разъезжал по базарам, продавал скот и возвращался с наполненными сумками. Некоторые джигиты аула по просьбе отца отвозили зерно на помол. Отец взялся за ювелирные работы. Я был у него подручным и с удовольствием выполнял свои обязанности. Помогать отцу — было вершиной моих детских желаний.

Сначала из глины делалась чаша нужной формы с продолговатой выемкой, туда клали серебряные монеты. Над чашей складывался маленький шатер из наколотой щепы, его поджигали, и я смотрел, как вспыхивала щепа и краснела чаша. Отец щипцами перекладывал угольки. Я помогал ему раздувать ручной дамашний мех, сделанный из козьей шкуры. Потом над чашей появлялось синее пламя и внутри начинала блестеть, как ртуть, расплавленная масса металла. Потом отец давал ей немного затвердеть и затем опускал серебро в чашу с холодной водой. Вода шипела, и пар поднимался над чашей. Отец ковал маленькими молоточками на наковальне, точил маленькими, разной формы, напильниками, выбивал выпуклости на кольцах или браслетах, потом рисовал карандашом узор и тонкими лезвиями набирал насечку на серебре. В эти минуты в юрте наступала тишина. Я следил, затаив дыхание, боясь пошевелиться и помешать этой тонкой работе.

Но вот изящный рисунок ложился на серебро, и тогда отец начинал шлифовать его песком, протирать шерстью, припаивал застежки и потом, посыпав белым порошком, который он называл «мусятыр» (по-видимому, нашатырь), подносил к огню. Когда порошок вспыхивал, браслет или кольцо он протирал о колено, и очищенное [82] серебро блестело. Быть может, в силу этого свое « го ювелирного таланта, отец в своих рассказах всегда особо останавливался на описании женских украшений и чеканке сбруи.

Слава об искусстве отца распространилась и за пределы нашего аула.

Вспоминается мне еще одна из работ отца — самодельный пистолет, который он начал делать, найдя где-то небольшой кусок стальной трубки. Я помню, как отец приделывал курок, украшал оружие, но, когда все было закончено, пистолет не выстрелил. Это было большим огорчением для отца. Позже он разрядил несколько найденных патронов, набил их порохом и специально для нас, детей, сделал целый взрыв. Так кончилась судьба этого самодельного револьвера.

Убианна вернулась через две недели вместе со своими спутниками, а сопровождавшие ее джигиты вели нагруженного верблюда и четырех лошадей-двухлеток. К моему удивлению, они проехали мимо наших юрт и остановились у стоявшей на отлете юрты невесты и там сняли вьюки. Снова собрались женщины. Они приветствовали спутниц с благополучным возвращением и расспрашивали, весело ли те провели время, хорошо ли были приняты родственниками.

В юрту внесли непременный самовар. Основным «докладчиком» за чаепитием была Катшагуль, подруга Убианны, рассказавшая все по порядку, с последовательностью и со всеми подробностями: когда у кого гостили, какие вечеринки проводились и в каком ауле, кто и что пожелал Убианне, чем одарили ее, как устраивались проводы. Свой рассказ она пересыпала удачными запомнившимися ей шутками, песнями, услышанными на этих вечерах. Хвалила одних родственников за хороший прием и внимание, неодобрительно острила по адресу других за их недостаточное усердие и холодноватый прием и проводы.

Женщины слушали с напряженным вниманием, смеялись, удивлялись, одобряли, поддакивали, умилялись не только словами, но и мимикой, кивками и одобрительными [83] жестами выражая свое отношение. Свой трехчасовой рассказ Катшагуль завершила показом привезенных подарков, которые вызвали новые восторги, возгласы, жесты и ужимки.

Оказывается, Серкебай подарил верблюда, а его брат Кульджабай — коня-двухлетку; одна из их жен — тускииз — надкроватную кошму, отделанную цветной материей, другая подарила перину с бархатным чехлом; сестра отца — маленький коврик и кожаный чехол для пиал; вторая сестра отца — парчовый халат и серебряный поднос.

Привезенные вещи были присоединены к приданому. Наговорившись и насмотревшись, женщины ушли, а Убианна, переодевшись в обычное свое платье, пришла к отцу с приветом. Отец встретил ее очень ласково, погладил по голове. Растроганная нежной встречей отца, взрослая Убианна заплакала и бросилась, как ребенок, к нему в объятия. Отец, сдерживая свое волнение, взял Убианну на руки, сел на кровать и начал укачивать ее, как маленькую, приговаривая успокаивающие ласковые слова. Младшая сестра Алиманна с торчащими по сторонам косичками стояла у изголовья кровати, и по лицу ее тоже катились слезы. Я, никогда еще не видавший проявления столь нежных чувств у отца к дочерям, пораженный слабостью всегда собранной и серьезной Убианны, замер на месте. Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что Алиманна подбежала ко мне и стукнула меня кулачком со словами:

— Что ты не плачешь, бессердечный?!

Я тоже ее стукнул, но все же выполнил ее волю и тоже прослезился... Отец засмеялся и всех нас троих, плачущих, заключил в свои объятия.

На следующий день вокруг невестиной юрты стали устанавливать еще около десятка других юрт, выделенных нашим аулом для гостей, прибывающих на предстоящий свадебный той. К вечеру рядом с нашим аулом вырос другой аул, с новой юртой Убианны в центре.

Через день нас, детей, приодели, и весь аул начал готовиться к приему гостей. К вечеру приехал Аюбай в сопровождении семи джигитов. Он остановился в отведенной для него юрте. Юрта, где сидела Убианна, стала называться теперь юртой девушки, невесты, а юрта Аюбая — юртой зятя, жениха. [84]

В юртах уже слышался оживленный, беззаботный го « вор. Каждый настраивал себя к веселью, доносился смех, звонкие голоса. Ржали на привязи кони гостей.

Я понимал, что той уже начался. Покинутый старшими, потеряв их внимание, я чувствовал себя не лучше, чем кони гостей... Мы, малыши, бродили в темноте, стараясь где-нибудь увидеть или услышать что-то особенное, но у каждой юрты человек, дежуривший у самовара, нас отгонял:

— Эй, дети, чего вам тут делать!

Те, которые были подобрее, шепотом нас убеждали:

— Вы зачем тут, дети? Сюда маленьким нельзя! От кунаков стыдно будет. — И тоже вежливо прогоняли нас: — Идите! Ступайте! Идите же!

Женщины почти не разговаривали с нами, куда-то торопились и спешили отвязаться от нас, сунув нам в руки баурсаки или какие-нибудь сласти. Было обидно. Мы не уходили. Пытались потребовать к себе внимания. Но, кроме баурсаков, ничего не получали. Между собою мы говорили шепотом.

Увидев человека, однажды прогнавшего нас, бросались в разные стороны, но потом снова подкрадывались. Так, изрядно набегавшись и устав от своих неудач, поздно ночью мы вернулись в старый аул, молчаливые от злости на свой возраст, не дававший нам права присутствовать на тое.

Настало утро. Солнце, поднявшись над горизонтом, положило косые лучи на белизну юрт... Дымились очаги и самовары. Спавший аул начинал постепенно пробуждаться.

Гости просыпаются, идут один за другим к роднику, умываются, потягиваются после сна, лениво и важна возвращаются к юртам. Часов в двенадцать начинают пить чай. Пьют лениво и долго, важно обмениваются фразами, затем подают кумыс, который они пьют тоже долго и лениво. Никто не торопится: спешить некуда. Солнце медленно поднимается к зениту. Нет вчерашнего веселого говора. Все стали серьезными, кого-то ждут. Кого? Ждут назначенного часа, ждут новых гостей. Скатерть убрана. Гости, устав от скуки, отдыхают. Становится [85] жарко. Поднимаются боковые кошмы у юрт, и сквозь клетки остова юрты мы видим издали всех гостей. Они отдыхают, лежа на расстеленных одеялах и подушках... Солнце скатывается к западу. Снова дымятся очаги и самовары. Гостям подают чай. Они долго и медленно пьют. Затем подают бесбармак. Гости, не торопясь, едят, ведут беседы... Все это надоедает нам и мучительно медленно убивает наше любопытство...

Время бежит. Зной идет на убыль. Лучи солнца становятся снова косыми, но на этот раз они ложатся на другую сторону аула...

И вот наконец на горизонте показались люди. Идут разряженные женщины и девушки из соседнего аула, едут мужчины... Вот и с другой стороны показались всадники, вон вдали еще и еще люди — верховые, пешие, женщины, группами и цепью рассыпанные во всю ширину степи. Они окружают дальние подступы к аулу, постепенно приближаются, сужая «кольцо окружения»... Скука покидает нас, мы глядим вдаль, рассматриваем приближающихся. Аульные люди стоят в почтительных позах, готовясь к встрече. Вот женщины встречаются с женщинами, приветливо кланяются, чуть припадая на одну ногу. Мы слышим их голоса и улавливаем отдельные слова:

— Да пройдет той счастливо!

И слышим ответ:

— Да будет это совместно с вами!

Смех, звон шолпы, шелест платьев, плавное движение женских фигур. Нам кажется, что женщины не го-ворят между собой, а выводят какие-то напевы, воркуют, щебечут, что они не идут, а плывут по степи.

Их проводят к юрте невесты. Они поздравляют ее с торжественным днем: «Да будут все дни твоей жизни яркими, как этот день! Да не сойдут с тебя во всю жизнь твои украшения! Да будет всегда твоя юрта, как сегодня, наполнена гостями и радостью!»

Невеста благодарит их за добрые пожелания: «Приятные слова пленяют слух, окрыляют душу, успокаивают сердце, резвят надежды, ваши лица ласкают мой взор. Да сбудутся ваши слова. Я буду обязана вам навеки!»

Женщины с нескрываемым любопытством, осматривают убранство юрты, вещи и невесту. [86] Оглянувшись назад, мы, дети, понимаем, что излишне увлеклись звонкими переливами певучих голосов и грациозными движениями женщин и девушек: показалась толпа конных джигитов, повязавших головы платками. Мы замерли в безмолвном восхищении. Незнакомые лица джигитов, поджарые кони, перетянутые подпруги, врезавшиеся в грудь лошадям... Число джигитов все множится. Стараемся определить их количество, но, умея считать только до двадцати, трудно определить, сколько всадников. Увидев отдельную группу всадников на окраине аула, я говорю про себя: «Здесь будет два раза двадцать». Переношу взор на другую группу. «Нет, здесь будет больше,

чем два раза двадцать», — поправляю себя, и пока высчитываю, сколько «двадцать» в этой группе, с двумя первыми группами сливается третья или показывается четвертая. Джигиты не стоят на месте, и невозможно толком подсчитать их. Увидев еще одну приближающуюся группу, я окончательно сбиваюсь со счета, но все же упорно считаю, уточняю, округляю, отбрасывая «мелочи» в пять-шесть всадников, и, наконец, подвожу итог: «Много»...

Итак, их было, поверьте, много. Я и сейчас говорю «много», хотя, быть может, их было две сотни, три сотни, а может быть, просто скромная сотня. Пусть будет последнее, если вас не устраивает мое самое точное «много».

Джигиты не сходили с коней, как это обычно делали приезжавшие гости, а если сходили, то не у юрт, а немного поодаль от них. Я искал знакомые лица, но все джигиты, перевязанные косынками, казались одинаковыми. Вдруг в проезжавшем мимо всаднике с засученными рукавами я узнал всегда дружившего со мной племянника моей матери по женской линии, моего крестного отца — черноусого Тиняли из наших батырбековцев, другой ветви Усена. Я радостно закричал: «Тате!» ***(уважительное обращение к старшему).*** Он обернулся, не останавливая своего коня, затем, узнав меня, повернул в мою сторону и, хитро улыбаясь, слегка придержал коня, на ходу поднял меня и усадил впереди себя.

— А, мурза! Той кутты болсын! Праздник пусть будет [87] счастливым! — И своими блестящими усами пощекотал мне щеку и шею.

Он начал расспрашивать, как я живу, наговорил мне много лестных слов, что, мол, я вырос и стал настоящим джигитом. Из его слов я узнал, что будет кокпар, и что они ждут прибытия атамана кокпара — старика Аккулы-ата, сверстника моего отца.

Тиняли, мой крестный отец, считался после Аккулы вторым наездником, поэтому его и называли почтительно шабандоз Тиняли, то есть лихой наездник Тиняли, а красивые усы принесли ему другую лестную кличку «жезмурт», что значит — джигит с усами, сверкающими, как начищенная медь.

Конная толпа зашевелилась, раздались возгласы: «Аккулы едет! Аккулы едет!»

Тиняли при этой вести быстро ссадил меня на землю и помчался навстречу атаману. Всадники без команды приняли какой-то торжественный порядок, как солдаты, ожидающие вне строя своего грозного, но любимого командира. Имя Аккулы было волшебной силой, пресекавшей малейшую развязность. Каждый начал приводить себя в порядок.

Аккулы ехал крупным шагом на поджаром сухоголовом и короткогривом сером коне, на своем «сером горном козле», как называли у нас его коня. Его сопровождали старший сын Асылбай, тридцатилетний крупный мужчина, и мой крестный Тиняли. Когда Аккулы приблизился, толпа расступилась, давая ему дорогу. Все приняли почтительные позы, но он не удостоил никого даже взглядом своих серых глаз. Лоб его был туго перетянут белым платком, рукава бешмета засучены и обнажают загорелые жилистые руки. Длинная редкая борода закрывала его грудь. Он был туго подпоясан старомодным кожаным поясом. Сидел Аккулы в седле свободно и глубоко, чуть подав непринужденно вперед корпус. Ноги его, обутые в бескаблучные сапоги, держались в серебряных стременах свободно, и казалось, что это собранные крылья его коня. Он прямо проехал к моему отцу, стоявшему в середине аула в окружении гостей. Аккулы легким движением кисти руки осадил коня. Разгоряченный бегом, по инерции устремленный еще вперед, конь с навостренными ушами, большими черными глазами и чуть раздувающимися ноздрями застыл. Казалось, [88] что серый конь в наборной серебряной сбруе и седой Аккулы были чем-то единым, слитым, напоминая неподвижно застывшую скульптуру.

— Будь в теле, Момыш! — приветствовал Аккулы своего сверстника.

— Да будь в живых, Аккулы! — ответил ему отец. После поздравлений с началом тоя Аккулы попросил извинить, что заставил себя ждать. Потом, повернувшись к конной толпе и взмахнув в ее сторону сложенной вдвое камчой, он пренебрежительно произнес:

— Этой бестолочи пусть в самую жару, но только давай кокпар... Знают только одно — гонять по полю, скачут без толку друг за другом... Никаких правил, только загонять коней мастера. Хлещут бедное животное плеткой, колотят в бока ногами, поводья дергают. Да от такой езды не только лошадь, даже слон свалится! Нет благородного уважения к коню, потому и не понимают и знать не хотят, как обходиться с этим нежным существом, более хрупким, чем девушка!

Аккулы сердито посмотрел в сторону молодежи и поучительным тоном добавил:

— Нет того, чтобы коня в теле без лишнего жира держать, лишний пот согнать, во время скачки прислушиваться к его дыханию и цокоту копыт, управлять конем и самим собой: то придержать, то облегчить, приподняться чуточку при прыжке, поддержать легонько при повороте... Сидят, словно набитые мешки, несутся как угорелые, коня калечат и сами падают. Хороший наездник коню — его крылья, не тяжелый груз. Бывало, почую — участилось дыхание коня, сам не дышу, а ему вздохнуть дам; копытце не так стучит по святой земле — приподниму, поддержу... А они только о прыти думают... Нет, Момыш, нынче не та молодежь пошла, им только на быках да на ишаках ездить, а не на добрых карабаирах... А седла! Седла-то какие у них, ты только посмотри!

Тиняли сделал умоляющий жест, прося моего отца прекратить старческую болтовню славного наездника, и отец прервал длинную речь Аккулы, своего приятеля и одногодка, сказав:

— Ну что ж, Аккулы, новое время — новые люди. Заман по праву принадлежит им, пусть веселятся и резвятся, как умеют. Научатся — у них все впереди... [89]

Аккулы хотел еще что-то сказать, но тут, по знаку Тиняли, дядя внезапным возгласом: «Ла аумын. Ака!» — в позе просителя баты — благословения — обратил его внимание на темно-серого козла, предназначенного для кокпара, которого он удерживал между ногами.

Аккулы, сложив ладони и погладив бороду, произнес:

— Во имя всевышнего.

Дядя тут же проворно свалил козла, прижал его коленом и ножом отсек ему голову.

— Ты сегодня попридержи себя, Аккулы, дай молодежи позабавиться! — сказал отец.

— Сила отца не признает, — гордо ответил Аккулы. — Схватится, вцепится, сам не может вырвать добычи и другому не дает! А нет того, чтобы ловко, с рывка, — он показал руками этот рывок, — этаким способом, — его корпус плавно и грациозно наклонился в сторону воображаемой добычи. — Упираясь на сильный хребет коня, придерживая его вот так, — он показал, его носок чуть подался внутрь, в правое стремя. — Из десятка рук вырвать козла и, как острием клинка, рассечь толпу и вылететь пулей из окружения.

Дядино «Готово, Ака!» опять оборвало затянувшуюся болтовню Аккулы. Увидев подготовленного для кокпара козла, он забыл окончить недосказанную мысль, весь изменился и, как одержимый, покрикивая на дядю: «Чего ты медлишь, Момынкул? Давай живей!» — сорвался с места.

Дядя, волоча по земле тушу козла, побежал рядом с конем Аккулы. Всадники зашумели, оживились, тронули своих коней, некоторые из них про себя упрекали самолюбивого старика, однако старались, чтобы Аккулы услышал их льстивые комплименты. Женщины высыпали из юрт посмотреть на начало кокпара.

Всадники отъехали от аула метров двести, стали широким полукругом, не загораживая сторону, обращенную к аулу. Дядя отбежал от Аккулы шагов на десять-пятнадцать и, высоко подняв тушу над головой, швырнул ее в сторону Аккулы. Тот, сжавшись со своим конем в один комок, стремительно бросился вперед, навстречу еще летевшей по воздуху туше козла и на лету; поймал ее. Толпа одобрительно загудела... [90]

Аккулы носился по кругу, искусно ведя коня галопом, изображал мнимую погоню за собою: перебрасывал козла с одной стороны на другую, увертывался от настигшего его опасного противника, который вот-вот вырвет у него добычу, валился на бок и вдруг вставал на стремена, рывком выхватывал добычу и ловким крутым поворотом уходил от преследовавшего его воображаемого соперника.

Толпа восхищалась искусством старика. В воздухе стоял гул голосов, а Аккулы продолжал показывать свое мастерство наездника, резко осаживая коня, и настигавшие его противники по инерции пролетали мимо. В тот миг Аккулы круто поворачивал коня и стремительно уходил от воображаемой погони.

Мастерство наездника пленило не только мой детский ум, но и вызвало восторг, искреннюю похвалу и гордость за лихого старика у моего дяди Момынкула, который стоял рядом со мной, топал ногами, взмахивал руками, издавал бессмысленные возгласы. Отец посматривал сердито на своего брата и только качал головой. Дядя весь жил искусной ездой Аккулы.

Аккулы сделал еще один круг, потом подъехал к центру полукруга всадников, возгласами восторга встретивших его, поднялся на стременах и, взмахнув над головой тушей козленка, с легкостью бросил ее вверх.

Всадники ринулись к этому месту, а Аккулы и след простыл. Началась кокпаровская кутерьма. Конная масса то копошилась в одном конце поля, то трогалась с места плотными рядами, то снова задерживалась, как на ледоходе во время распутья.

Аккулы подъехал к нам, с ловкостью циркача спрыгнул с коня на ходу и, подходя к отцу, сказал:

— Вот видишь, Момыш, послушай, как я дышу и как мой Кок-шолак дышит?

Действительно, они были только немного возбуждены и дышали легко и ровно. У Кок-шолака было горячее тело, но он не был потным. Когда его подвели к нам, он своими раздувшимися ноздрями начал нас обнюхивать. Аккулы похлопал его по шее, погладил по морде, разговаривая с ним, как с человеком.

— Погоди немножко, мы с тобой еще покажем этим неуклюжим кислякам, как надо одолевать бестолковых, [91] рассеивать их по полю, словно зерна по вспаханной земле...

Кок-шолак отошел в сторону и начал переступать медленным шагом, словно его вел в поводу хозяин.

Дядя, смотревший восхищенными глазами на Аккулы, начал восторгаться, говоря, что он — пир, духовный наставник джигитов, что его Кок-шолак — Долдоль Алишера, что над челом Аккулы витают духи легендарных Кырыкшилтенов. Это, видимо, подлило масла в огонь. Старого Аккулы, фанатика кокпара, задело равнодушное молчание отца, его самолюбие не могло с этим примириться.

Аккулы презрительно посмотрел на конную толпу и окликнул несущегося наперерез толпе молодого наездника. Тот незамедлительно повернул коня и перед самым носом Аккулы, в двух шагах, осадил доброго гнедого жеребца. Мы невольно отшатнулись, а Аккулы не тронулся с места. Разгоряченный конь взвился на дыбы.

— За ноги кокпара держался? — строго спросил Аккулы юношу.

Запыхавшийся от быстрой езды, растерянный юноша искренне ответил:

— Я только что... еще нет. Аккулы процедил:

— У самого сердце вот-вот выскочит, а конь весь в мыле. Пока ты добычи коснешься, вы оба ноги протянете, а потом вас вместо козла можно будет драть! — крикнул он на юношу. Тот растерянно улыбнулся. Аккулы гневно скомандовал: «Езжай!», и юноша покорно повернул коня и поскакал.

— От неуклюжего верблюда никогда еще не рождался резвый тулпар! — бросил он вслед юноше, намекая на рыхлость его отца.

Дядя не мог удержаться от выражения восторга бессмысленным возгласом: «Уаеа!». Отец снова строго посмотрел на своего брата, не сводившего глаз с Аккулы и начал убеждать старика в несправедливости его отношения к юноше, на что Аккулы ответил надменно:

— Вот ты сколько ни старался, а не научился с кораном так свободно обращаться, как я с конем. — Он, видимо, сводил какие-то счеты с отцом за обиду в ранней юности, когда мулла колотил его за неуспеваемость, — Я [92] не глупый мулла! «Не умеешь ездить — слезай с коня, не мучай животное», — говорю я прямо. У меня две крайности: познай до конца и живи этим или совсем не знай! Вот тебе и справедливость!

Отец засмеялся и сказал, что Аккулы рано поседел, а сейчас он переживает во второй раз свой юношеский возраст.

— Да, ребенком, юнцом хочу умереть! — отрубил Аккулы.

... Солнце садилось.

Кокпар продолжался, и всадники то удалялись, то приближались к аулу. Сухая земля взлетала из-под копыт коней. Сотни скачущих коней оставляли длинный хвост серой пыли.

Вот закружилась, завертелась на одном месте конная толпа, рывком тронулась из круга. Из толпы вырывались отдельные всадники, за ними — другие, они, устремившись вперед, опережали оторвавшихся, задерживали их, сливались с ними, и снова возникал конный круг, вертелся и кружился громадным темным волчком на одном месте. Вдруг из толпы, рассекая ее, вырвался всадник, держа кокпар под путалищем.

— Вот так сила руки, вот так силища! — восторгался Аккулы.

Я думал, что старик полон самомнения и не способен кого-нибудь хвалить, ведь для него все были «набитыми мешками», а не всадниками. А его справедливость — возглас, непосредственно вырвавшийся; в силу спортивной страсти, — меня немного удивил, и с этого момента что-то изменилось в моем отношении к Аккулы, и моя обида за отца, которого он «отбрил», быстро прошла. Всадник, вырвавшийся из толпы, носился по полю, восхищал всех своей удалью. За ним неотступно гнались наездники, иногда настигая его... Но как только самый передовой из преследователей приближался, всадник ловко поворачивал и уходил в сторону. Казалось, он дразнит толпу скачущих.

Все это время Аккулы был в движении. Из его уст я сотню раз слышал одобрительные возгласы: «Молодчина!»

Всадник еще раз повел толпу за собою по кругу, сделав несколько зигзагов из стороны в сторону, окончательно [93] рассеял преследователей по всему полю и, оглянувшись по сторонам, помчался, направив своего коня прямо к нам. Мгновение — и вот он перед нами. На полном скаку, подняв над головой кокпар, он швырнул его в сторону Аккулы:

— Вот вам, Ака!

Тут я узнал по голосу дядю. Он был черный от пыли. Потный конь «торы ат» — гнедой мерин сделался вороным. Гнавшиеся за дядей всадники чуть было не наехали на нас, пеших, промчавшись так близко, что я в страхе прижался к отцу, закрыв глаза. Когда я открыл глаза, мы стояли, окутанные густым облаком серой пыли. Гул удалялся, все затихли, отчетливо стал слышаться людской говор. Когда пыль рассеялась, я увидел Аккулы, который держал избитое, грязное, растерзанное тело бедного серого козла, несколько часов тому назад мирно щипавшего на лужайке траву и с громким жалобным «ме-а-а!» потрясавшего своей длинной бородой и торчавшими на макушке загнутыми назад рогами.

Всадники рысью подъезжали со всех сторон.

Аккулы им дал знать: кокпар закончен!

Усталые и разочарованные, они неохотно разъезжались шагом.

...Сумерки. Пыль от кокпара давно уже осела, серой пудрой покрыв траву и юрты нашего аула. Вечерняя прохлада опустилась на жаркую землю.

У юрт невесты и жениха боковые кошмы, поднятые вверх по кругу и свернутые валиками, как толстые скатки, были прикреплены к самой вершине. Сквозь сетку хорошо была видна внутренность юрт.

Убианна, одетая во все праздничное, сидела посреди своей юрты в окружении девушек — подруг и гостей.

Аюбая в его юрте окружили сопровождавшие его джигиты и прибывшие на кокпар сородичи-байтанынцы.

Народу собралось много. Посредине аула группа мужчин о чем-то спорила. Я подошел к ним. Оказалось, байтанынцы и наши усеновцы оспаривали право начинать той. Каждый приводил свои доводы, но никто не хотел уступать. Наконец кто-то предложил бросить жребий, на что и согласились стороны.

Тиняли, прикрыв траву полой бешмета, вырвал ее и начал «обрабатывать» в рукаве, никому не показывая, [94] что это за трава и что он с ней делает. То же самое сделал представитель Байтаны — Онал. Дядя снял шапку и, держа ее верхом вниз, подошел к сборищу. Мужчины, прикрыв концом рукава свои руки, бросили в шапку траву. Тогда хозяин шапки, прикрыв ее полой своего бешмета, помешал рукой, несколько раз потряс шапкой, и увидев меня, стоящего среди взрослых, подозвал к себе и предложил вытащить с закрытыми глазами одну травинку. Я

закрыл глаза, сунул руку в шапку, ощупью разыскал стебелек и вытащил его. Все присутствующие, как на всякой жеребьевке, затаив дыхание ожидали результата. Высоко подняв перекрученный в двух местах зеленый стебелек осоки, хозяин шапки спросил:

— Чья это?

— Моя! — с радостью откликнулся Онал из рода Байтаны.

Толпа загудела. Онал, сопровождаемый всеми, направился к юрте невесты и, сев напротив Убианны, открыл той.

Обращаясь к Убианне, Онал запел о том что он белый ястреб, который год тому назад услышал о предстоящем тое красавицы Убианны. Эта весть не давала ему ни покоя, ни сна, и он шесть месяцев тому назад тронулся в путь и, пролетев через просторы бескрайних степей и синеву морей, пересек хребты высоких гор и все несся на своих крыльях, чтобы вовремя поспеть к этому тою...

Мужчины, женщины и девушки, облепившие юрту плотной толпою, смеялись над воображением Онала, превратившего пятикилометровое расстояние между нашими аулами в шестимесячный путь для быстролетной птицы.

Убианна поблагодарила Онала за внимание, честь и пропела ему в ответ, что она тронута этим поступком благородного ястреба, и в свою очередь спросила, благополучно ли он пролетел такое далекое расстояние, не устали ли его крылья, целы ли его когти, — словом, выражала традиционное «добро пожаловать».

Онал в ответ затянул: все в порядке. На пути его встречались враги, но он взмахами своих мощных крыльев, ударами своих сильных сжатых кулаков, острием своих восьми пик побеждал всех. И тут, в ауле [95] красавицы, он увидел врага (тонкий намек на своего спорщика Тиняли), но и его победил в жестоких сражениях. Теперь враг валяется где-то невдалеке отсюда, сбитый им наземь, и бьется, запутавшись крыльями в траве...

Толпа снова загудела от восторга.

Далее Онал воспевал красоту Убианны, выражая свое удовлетворение, восхищался ее речами и гостеприимством, говорил, что он видит перед собою играющую перламутровыми отсветами перьев райскую птицу, что столь дальний путь его даром не пропал и один взгляд ее очей и сладкий звук ее голоса — полное ему вознаграждение за все страдания, которые он перенес в пути...

Убианна снова благодарила его, просила быть почетным и желанным гостем и осчастливить своим присутствием день крутого поворота в ее жизни, который она собирается совершить по заветам предков. Она подарила Оналу шелковый платок и завернула в него несколько колец и браслет. Но пока платок передавался в руки Онала, кольца были разделены между присутствующими.

Онал важно вытер лицо полученным платком и песенно открыл той, призывая присутствующих весело его провести, вознаградить друг друга приятными словами, шутками, звучными песнями. Когда он, размахивая платком, кончил куплет и встал со своего места, все закричали: «Той начался, той начался!»

Откуда ни возьмись на голову посыпались баурсаки и урюк, их на лету хватал каждый и тут же отправлял себе в рот, говоря: «Тояныш» (с торжественного стола).

Оказывается, этот традиционный дождь из баурсаков и урюка означал своего рода первый торжественный тост, их рассыпали расставленные среди толпы мужчины и женщины нашего аула.

Той начался! Началось угощение, состязание в песнях. До поздней ночи во всех юртах звучали песни. Все шутили и веселились. Юрты виновников торжества были в центре внимания. В эту ночь нас, малышей, не отгоняли, как в прошлую. Мы бегали свободно по новому аулу, ныряя из одной юрты в другую, путаясь под ногами и мешая взрослым, но нас по-старому не удостаивали [96] даже и намеком на внимание... Это невнимание несколько ущемило наше самолюбие, но мы были довольны и тем, что никто нам не говорил оскорбительное: «Идите! Нечего вам тут делать!» Состязание певцов постепенно затихло лишь перед самым рассветом.

Я был разбужен Алиманной в десятом часу утра. В ауле снова было много народу. Началась борьба силачей. Народ стоял и сидел, образуя большой полукруг. Борцы выходили на арену, схватывали друг друга за пояса, сгибались и, упершись плечом к плечу, ходили по кругу широко расставленными ногами, выбирая удобный

момент, чтобы свалить партнера. Вдруг один из них сжал бока противнику, а потом оторвал его от земли, поднял и завертелся по кругу. Он наклонял корпус, чтобы сбросить поднятого на воздух противника, но тот ловко успевал встать на ноги и не давал свалить себя на землю. И борцы снова, схватившись за пояса, ходили по кругу широко расставленными ногами. Наконец одному из них удавалось одержать победу, и толпа гудела, болельщики спорили между собой, а победитель получал приз — одежду или платок, деньги или скот.

Следом выходила новая пара борцов. Состязание завершилось борьбой десяти-двенадцатилетних мальчуганов. Они во всем старались подражать старшим, но мало что у них выходило по-настоящему. Борющиеся мальчуганы походили скорей на дерущихся маленьких петушков и смешили всех. Победившему мальчику тоже полагался приз — расшитая тюбетейка или лисья шапочка.

Солнцепек заставил людей укрыться в тени юрт... Снова, как вчера, наступила скучная пора ожидания, пока солнце не сойдет с зенита, и косые лучи его не смягчат жара земли...

После обеда происходили конные скачки. Назначалось три приза — конь, корова и теленок... В байге-скачках принимали участие до тридцати лошадей, кунанов, то есть трехлеток, — по обычаю тоев коней старше трех лет не выпускали. Победители получали свои призы, после чего снова начиналось козлодрание — кокпар, как и вчера.

Вечер и ночь прошли в айтысах.

На другой день утром из юрты невесты донесся плач Убианны, взволновавший мое сердце. Это женщины снимали [97] с нее девичьи одеяния и переодевали в женское белое платье, вместо розового девичьего, которое она носила.

Убианна песенно тянула свой плач по девичьей свободе.

В новом одеянии вышла она из своей юрты. Женщины поддерживали ее, приговаривая:

— Путь, протоптанный предками, дорогая! Ничего не поделаешь, девичье одеяние не вечно носится.

Уже начали разбирать ее юрту, а джигиты подвели коня для Убианны и верблюдов для приданого.

Отец, издали молча смотревший на эту картину, прослезился, а Убианна все выла и выла тонким голосом. Мы с Алиманной стояли рядом с отцом. Я еле сдерживал слезы.

Но вот уже все погружено, поданы оседланные кони, Убианна затянула на еще более высоких нотах свой плач, аульные по очереди подходили к ней, обнимали ее, причитали, скороговоркой шептали свои лучшие пожелания.

Отец подошел последним, обнял дочь, сказал ей ласковые слова дрожащим от волнения голосом и, скрывая слезы, отошел в сторону.

Убианну схватили двое джигитов из семи сопровождающих Аюбая, посадили на подведенного коня и, придерживая с двух сторон ее, качающуюся на седле, тронули коня с места.

Алиманна, увидев, что увозят сестру, заплакала. Какая-то женщина набросила на голову Убианны большую шелковую шаль. На вороном коне белым шатром покачивалась фигура невесты.

Бабушка, я и не переставшая изливать свое горе Убианна в сопровождении семи аюбаевских джигитов, которые вели в поводу двух верблюдов, нагруженных приданым, тронулись в путь на новое место Убианны, в аул Аюбая.

Через два-три километра пути Убианна перестала плакать.

Мы проезжали мимо одного аула. Увидев издали свадебный поезд, на дороге нас уже встречали группы женщин и девушек. Они предложили нам принесенный в бурдюках кумыс, и пока все утоляли жажду, они осматривали Убианну и справлялись о приданом.[98]

Когда мы подъезжали к аулу жениха, несколько десятков девушек и женщин вышло навстречу. Убианна сошла со своего коня. Сопровождавшие джигиты и мы с бабушкой отделились от окружавшей невесту толпы женщин и поехали прямо в аул, где нас поджидало мужское население во главе с высоким черным старцем в бараньей шапке и халате из верблюжьей шерсти, накинутом на плечи. Дед был немного согнут временем и опирался на палку. Под ноздрями усы были выщипаны, у губ подстрижены, а подбородок был окаймлен редкой белизны, чистой как снег, длинной бородой, которую старик постоянно поглаживал большими жилистыми руками. Когда аксакал говорил, его борода по-старчески тряслась, но пожелтевшие крупные зубы напоминали о том, что у деда «стены во рту еще целы»... Контраст между чернотой кожи и белизной бороды был разительный. Все звали старика «ата». Он оказался отцом Аюбая — Майлибаем.

Нас ввели в большую юрту. Майлибай и бабушка сели на почетном месте. Меня посадили по левую сторону от бабушки. Остальные родственники сели по старшинству... Все притихли, Майлибай хрипловатым басом обратился к бабушке с приветственными словами. Когда он заговорил, мне показалось, что в его горле булькает саба ***(большой кожаный мешок (бурдюк) для квашения кумыса)*** с кумысом. Бабушка, в свою очередь, отвечала ему положенными приветственными словами. Потом старик представил своих сыновей: старшего, уже с проседью в бороде, второго, с очень редкой черной бородой. Третий и четвертый были помоложе, но тоже с бородами. Затем он представил по очереди своих родичей. Пили кумыс. Все время говорили дед Майлибай и бабушка, а остальные слушали в почтительных позах.

— Ата! — обратился его предпоследний сын, — говорят, все готово.

Старик дал знак выходить из юрты. Он поднимался тяжело. Мы все вышли наружу. Невдалеке от большой юрты была установлена юрта, привезенная нами. Они вошли в отау, как теперь называлась юрта Убианны, и, осмотрев убранство, вышли обратно. Старик выразил бабушке благодарность за «уютное и разукрашенное гнездо»[99] молодых. Поминал он также имя моего отца и передавал ему благодарность за то, что он «в такое время» осчастливил его старость, предоставив его глазам, как яйцо, отау с «красным жасау». Бородатые сыновья поддакивали старику.

Убианна, до этого сидевшая в окружении девушек и женщин, встретивших ее в лощине на окраине аула, после осмотра отау была приведена в свою юрту... Когда мы вернулись в большую юрту, мужчины в ней больше не появлялись, а стали приходить пожилые женщины. Майлибай каждую из них представлял бабушке, объясняя, кем она приходится ему. Все приветствовали бабушку.

— Ну, кара-джигит! — обратилась бойкая старуха к Майлибаю, называя его так по старой памяти, когда он еще был юным. — Младшего сына женишь — последнюю, быть может, в жизни радость переживаешь. Не жалей ничего, наполняй котлы, разливай жир с молоком!

— Да, женеше ***(уважительное обращение к жене старшего брата),*** у нас с тобой это, наверное, последнее, что видим... — со старческой грустью ответил Майлибай.

— Нет, нет! Ты один можешь отправиться туда пока, а я еще несколько таких свадеб хочу посмотреть, — шутя зачастила старуха.

— Пять сыновей да двенадцать внуков! — подхватила вторая старуха. — Конечно, тебе идти первым, а го говорят, твой отец и мать давно тебя поджидают там и скучают по тебе.

— Слава аллаху! — ответил Майлибай. — Слава аллаху! Он меня не обидел. То, что положено прожить, — прожил, то, что надо было поесть, — поел, но дайте мне еще от дочери Момыша хотя бы одного внучонка поцеловать, — просил он у старух, как будто его смерть зависела от них.

— Ладно! Уж так и быть, — сказала первая старуха, — живи, целуй не одного, а еще трех внуков от младшей снохи! — Она говорила так, как будто бы от нее зависело решение вопроса о дне кончины.

... Когда Отечественная война перешла уже за третий [100] год. я часто слышал на фронте среди бывалых солдат шутки, похожие на эти.

— Хоть бы тебя, черта, первым убило! — обращался гвардеец к земляку.

— Ну что же, ты и хоронить будешь! — отвечал тот на шутку шуткой.

— Дай табачку на папироску, а то не похороню!

Тот, отсыпая табак из кисета, просил:

— Дай до Берлина дойти, хоть посмотреть на это дьяволово логово!

Заворачивая самокрутку из газетного обрывка, собеседник отвечал, небрежно махнув рукой:

— Ладно! Так и быть, разрешаю...

Когда смерть близка и становится обычной по условиям времени, обстоятельств и возрасту, человеку, видимо, доставляет какое-то внутреннее удовлетворение шутить над нею. И это хорошо, что он смеется над смертью!..

Юрта Майлибая была восьмистворчатая. Почерневшие от времени деревянный остов и кошмы, оборванные веревки и потрепанные ленты говорили о том, что эта юрта служит жилищем далеко не первый год, а заплаты, грубо нашитые на кошмы, свидетельствовали о том, что хозяйка ее не очень-то искусно владеет большой иглой. Как все старые юрты, и эта особых украшений не имела, а те, что были при ее сооружении, поблекли от времени, и только слабо различимые узоры напоминали о былой красоте...

Юрта была просторной и вмещала много народу. Под вечер она уже была переполнена. Кто помоложе — стоял, а старшие важно сидели по старшинству на расстеленных кошмах.

Во дворе была суета не меньшая, чем в нашем ауле, когда мы готовились к приему гостей. Варилось в котлах мясо, кипела в самоварах вода. Все готовились к церемонии «открытия лица невесты» и венчанию новобрачных.

Рядом с Майлибаем, между ним и бабушкой восседал рыжебородый, в белой чалме ходжи ***(духовное лицо, мнимый потомок Магомета)*** с накрашенными сурьмой ресницами. К нему обращались не иначе, как «таксыр» ***(господин).*** Он называл всех мужчин «муртым» ***(буквально: «усы мои», искаженное от арабского мурид (прихожанин).[***101]

Я смотрел на его подстриженные рыжие усы и не понимал, почему все мужчины — его усы... Оказывается, он был пиром — духовным наставником, а все прихожане его мечети, куда ходили спасать душу, — поддуховными.

Но вот в юрту вошел среднего роста плотный мужчина лет сорока, с густой черной бородой на расплывшемся добром лице. Звали его Утеп. Появление Утепа вызвало общее оживление. Он приветствовал всех широкой улыбкой. Его посадили отдельно, на большую подушку, впереди всех. Широкая спина Утепа загородила от меня все, и я вынужден был встать, чтобы, опираясь на плечо бабушки, видеть происходящее в юрте.

Одна из женщин внесла сковородку, наполненную горящими углями, и поставила перед Утепом. Утеп, засучив рукава, сделал движение над сковородой, как будто согревая на огне руки. Потом он протянул правую руку в сторону, и ему вручили длинную скалку, толщиной пальца в два, которой обычно раскатывают тесто.

По знаку Утепа открылась дверь, и две молодые женщины ввели покрытую белой шелковой шалью Убианну. Сопровождавшие ее женщины сделали поклоны во все стороны.

— Шагните вперед, милая сноха. Вы вошли в юрту свекра! — сказала одна из старух, нарушая торжественное молчание.

Убианна сделала два шага и встала перед Утепом. Их разделяла сковорода, угли на которой подернулись серым пеплом.

— Э-э-э-эй! — начал запев Утеп, размахивая своей палкой и требуя внимания гостей:
Сноха пришла, приходите!
За то, что увидите, подарок мне дадите.
Вы снохи прекрасное лицо увидите
После принесенного мне подарка...

— Дадим! Дадим! — раздались возгласы.

— Ты скорей показывай ее!..

Утеп отвечал стихами, что он словам не верит и, пока не посеребрят его руки, не прочистят ему горло маслом, он не откроет лица прекрасной невесты...

Майлибай бросил к ногам Утепа несколько серебряных полтинников. Женщина поставила перед ним пиалу, наполненную желтым растопленным жиром. Другие, в свою очередь, бросали монеты: кто гривенник, кто двугривенный, и на кошме перед Утепом вырастала горка серебряных монет.

Но Утеп пел, что этого ему еще мало, требовал больше: пока перед ним не вырастет серебряная копна в рост снохи, он не откроет ее лица. Гости выражали деланый гнев, а Утеп пугал их, распевая, что вот улетит райская птица счастья, по его же волшебному жесту вспорхнет и улетит через открытый купол шанрака.

Тогда все разыгрывали испуг, уговаривали его не делать этого и снова бросали монеты. Утеп опять указывал на разницу между кучкой монет и ростом Убианны.

И опять женщины бросали кольца, браслеты, серебряные или перламутровые пуговицы. Одна, видимо, по ошибке, бросила черную пуговицу. Утеп рассердился и отшвырнул ее в сторону. Присутствующие выразили свое негодование неряхе, и бедная женщина, чтобы смыть с себя позор и смягчить ошибку, сгорая от стыда, попросила у всех прощения, и взамен злосчастной черной пуговицы, сняв с руки два массивных серебряных браслета, бросила их в общую кучу. Этот жест убедил общество в ее искренности, и она была прощена.

Раздавался запев Утепа. Он начинал петь об Убианне, о нашем роде в хвалебном, эпическом тоне, рассказывал о нашей родословной, хвалил бабушку и представлял ее обществу как орлицу — мать славных орлят, в гнезде которой воспиталась и росла сноха.

И бабушка под общее одобрение подарила Утопу золотое колечко.

Затем Утеп перешел к достоинствам Убианны: воспевал ее красоту, мягкий характер, доброе сердце, ее искусство в рукоделии, говорил, что скоро этот аул наполнится и приукрасится не только ее красотой, но и художественными изделиями и узорами ее вышивок. Убианна из-под шали кивком головы благодарила певца.[103]

Вдохновленный Утеп начал еще больше разжигать любопытство присутствующих, описывая стоящую перед ними под шелковым покрывалом сноху, лицо которой светлее луны, с бездонно черными глазами и жемчугом зубов. Он пел о гибкой талии, соперничающей с самым тонким тростником, о белизне тела, не уступающей нежному шелку, и требовал еще добавить ему серебра и золота.

Гости возмущались его ненасытностью, а Утеп заставлял их молчать своими новыми и новыми угрозами. Он распевал их в страстном боевом темпе, дирижируя своей палкой.

— Э-э-э-эй! — снова затягивал Утеп, призывая к вниманию.
О, сидящий здесь на почетном месте
Восьмидесятилетний Майлибай...

Он перешел к исполнению песен-скороговорок, распеваемых в стремительном темпе. Запел хвалебную песню о Майлибае и потребовал от Убианны низкого поклона свекру. Убианна покорно склонилась перед стариком. Каждый свой куплет он оканчивал словами: «Такому-то поклон».

Затем Утеп перешел к представлению своих сверстников, из майлибаевской родни, но представлял их уже в комедийном плане. Его эпиграммы на бедных ата, кайнага, абисын ***(ата, кайнага, абисын — самая близкая родня жениха)*** имели такой успех, что юрта сотрясалась от громового хохота. Некоторые смеялись до слез. Особенно досталось от Утепа одному из сыновей Майлибая — сорокалетнему Жартыбаю, человеку с бледным лицом, вздернутым носом и жиденькой бороденкой, что, как кисть, торчала пучком на самом кончике подбородка. Утеп, издеваясь, сравнивал его блеклое лицо с пылающей розой на щеках молодой девушки; вздернутый короткий нос с круглыми, как блюдце, ноздрями он именовал орлиным; десяток тонких волосков, торчащих по углам рта, он сравнивал а густыми, лихо закрученными усами, доходящими до самых ушей, жиденькую метелочку на подбородке — с[104] атласной густой бородой, покрывающей всю грудь до самого пояса.

Это вызвало новый взрыв смеха. Жартыбай бледнел, краснел и неловко теребил бороду...

Убианна все еще стояла под своим покрывалом, а поддерживающие ее две молодые женщины едва сдерживали приступы смеха.

Наконец Утеп произнес:

— И Жартыбаю один поклон.

Убианна поклонилась, а у бедного Жартыбая из груди вырвался облегченный вздох, отчего все снова засмеялись.

Утеп спокойно и с достоинством приступил к новой песне, в которой давал Убианне наставления, как обращаться с мужем, с людьми, как вести себя на новом месте, что следует молодухе делать и чего следует избегать, давал советы, учил ее...

Потом Утеп приподнял «жезлом» конец покрывала и сбросил его с головы Убианны наземь.

Народ зашумел, впился глазами в невесту.

Смущенная Убианна вылила на сковороду поданное Утепом масло из чаши. Оно зашипело, создавая «дымовую завесу» вокруг молодой. Люди, задыхаясь от едкого дыма и запаха, кричали «Благослови!».

Этим древнейшим обычаем, дошедшим до нас, по-видимому, со времен огнепоклонников, завершалась церемония «открытия лица невесты».

Утеп собрал все серебро, что было сложено перед ним, поднял белую шаль и вышел из юрты. Часть гостей бросилась за ним следом. Со двора донеслось:

— Мне! Мне!

Видно, певцу-импровизатору пришлось откупаться серебром от своих преследователей.

Майлибай пригласил Убианну занять приготовленное ей место. Она села с краю юрты, по правую сторону, где сидели женщины. Левую сторону юрты занимали мужчины.

Внесли самовар.

Ходжа все время сидел молча, коротко отвечал на вопросы, обращаясь к говорящему со словами «да, муртым», с чисто узбекским акцентом. Он относился кс всему с равнодушием, ибо на своем веку много раз был свидетелем подобных церемоний...[105]

Когда за беседой чаепитие пришло к концу, у ходжи испросили разрешения начинать венчание.

Принесли деревянную чашку, наполненную чистой водой, и поставили перед Майлибаем. Майлибай, опустив в воду серебряный полтинник, передал чашку ходже. Ходжа накрыл ее белым платком и, зажмурив глаза, прочел молитву, потом подул на чашу с водой, В это время два взрослых джигита ввели в юрту Аюбая. Он сел напротив Убианны на отведенное ему место. Ходжа подозвал сопровождавших Аюбая джигитов и велел спросить имена бракосочетающихся. Джигиты родошли к жениху и невесте и задали им этот вопрос. Вернувшись, они встали перед ходжой и, сложив накрест руки, доложили ему:

— Жених — джигит Аюбай, законный сын от брака Майлибая с Зузихой, двадцати пяти лет от роду, правоверный мусульманин.

— Невеста — девица Убианна, законнорожденная от Ирака Момыша с Разией, двадцати одного года от роду, правоверная.

Ходжа спросил джигитов, готовы ли они быть свидетелями бракосочетания «здесь, перед народом, и там, перед богом?», совершили ли они омовение перед приходом сюда, перед тем как выполнить эту высокую обязанность.

Джигиты отвечали утвердительно и поклялись в правдивости своих слов.

Тогда ходжа велел спросить невесту и жениха, совершается ли их брак по доброй воле и согласию сердец.

Джигиты взяли в руки концы данного им белого полотенца, и, медленно покачиваясь, пошли в сторону Убианны, читая нараспев:
Свидетели, мы — свидетели!
Мы ходим в свидетелях.
Сегодня перед народом,
На заре перед богом
Мы будем свидетелями.

Расстояние до Убианны они шли такими мелкими шажками, что успели пропеть все свое «свидетельство». Не доходя на шаг, они остановились перед ней и спросили об ее согласии на бракосочетание. Убианна молчала.

С теми же словами они подошли к Аюбаю и спросили его о согласии на брак. И так три раза повторяли те же слова и задавали те же вопросы. Наконец, получив от молодых согласие, они вернулись к ходже и засвидетельствовали, что брак совершается по доброй воле и с согласия сердец, чему они и есть свидетели.

Ходжа прочел молитву, снял с чашки платок и передал чашку с водой джигитам-свидетелям. Те понесли ее к Убианне. Убианна пригубила воду. Потом преподнесли чашу Аюбаю, который тоже отпил глоток. И сами свидетели пригубили воду... Далее чаша пошла по рядам, ее передавали из рук в руки, а монету, лежавшую на дне чаши, взял тот, кому досталась последняя капля воды.

После этого ходжа торжественно объявил, что бракосочетание совершилось.

Майлибай положил перед ходжой пачку денег, которую тот поспешно засунул за пазуху.

Вскоре в юрту внесли блюдо с бесбармаком, и началось угощение.

На следующее утро за чаем и кумысом старик Майлибай благодарил бабушку, просил не осуждать, если вышло что-либо не так, передал моему отцу просьбу удостоить в скором времени его юрту посещением, потому что он стар, чтобы самому совершать далекие поездки.

Бабушке был подарен старомодный парчовый халат, отрез на платье, а мне подарили двухлетнего жеребенка и отделанную серебром камчу.

Затем мы пошли из большой юрты прощаться с Убианной. Бабушка заголосила на весь аул, обняла плачущую внучку. Пожелав Убианне счастья на новом месте, мы выехали из нового гнезда Убианны. Аюбай провожал нас до самого нашего аула. Он впервые был принят отцом в нашей юрте, заночевал у нас и на следующий день уехал к себе.

* * *

Последующие детали жизни нашей семья интересны мне самому, когда я их вспоминаю, но во всех подробностях они, пожалуй, будут скучны для читателя. Поэтому [197] я намерен в дальнейшем не придерживаться хронологической последовательности и излагать лишь главное.

Замужество Убианны и расплата с ее первым женихом — Мамытом, которому наш отец вернул полученную ранее часть калыма, разорила нас основательно, и до моих зрелых лет наша семья не могла восстановить свое хозяйство. Особенно болезненно эту бедность переживала не слишком скупая на слова наша мачеха. Она укоряла отца, что у нее пищей не наполнен котел, что одеждой не укрыто тело, и нет ничего, что удерживало бы ее в этом доме.

Разница в годах между отцом и мачехой была в двадцать пять лет. Отец, услышав слова мачехи, пригласил к нам в аул ее мать и дядю, объявил им, что он желает развестись с мачехой, и предложил на следующий же день увезти ее Те встревожились. Старуха принесла извинение отцу за непочтительное обхождение с ним ее дочери и обрушилась на нее. Мачеха сидела потупившись, сначала молча, а потом начала оправдываться, говоря, якобы эти слова она произнесла нечаянно.

Отец сказал, что он оставляет их одних для семейных искренних разговоров, и увел меня с Алиманной в бабушкину юрту.

Вся эта история очень расстроила бабушку. Она гневалась на сноху, вспоминала мою мать, начинала по ней плакать, как будто она умерла только сегодня, упрекала отца за то, что он не избил мачеху, как только та открыла рот, чтобы произнести «плохие слова», и не проучил ее на всю жизнь.

— Ах, почему аллах не призвал меня тогда вместо кроткой, обходительной Разин! — говорила она, все более и более расстраиваясь. — Каково мне все это слышать и видеть?

— Апа! — строго прервал ее отец. — Оставьте в покое аллаха!

В ответ бабушка, задыхаясь от гнева, обрушилась на отца:

— Ты что, мать учить собираешься? А! Я тебя научу, как пререкаться со мной! Я тебя выпорю1 Я тебя за уши отдеру!

Отец посмеивался.[108]

— Пожалуйста, апа, только вспомните, что мне давным-давно пошел шестой десяток.

А из соседней юрты доносился гневный крик другой старухи — матери нашей мачехи.

Этот семейный скандал закончился на следующий день. Мачеха принесла извинения за свои «нечаянно пророненные слова», а гостья, наказав отцу «бить жену, когда она сидит, — по голове, а когда стоит, — по ноге», отбыла восвояси... Но я не помню, чтобы отец исполнял наказы старухи.

* * *

Я часто посещал Убианну, а Аюбай нередко ездил к нам. Он оставался у нас на день, иногда — на два, помогал пахать, сеять хлеб, убирать, молотить. Своим родным он объяснял: «Шурин еще мал, а тесть — пожилой, я у него за старшего сына, помогать надо».

Через год заболела бабушка. На третий день болезни вызвала к себе отца. Она лежала на спине, дыхание ее было учащенным и тяжелым, щеки раскраснелись, глаза поблескивали. На подушке, сливаясь с белизной наволочки, лежали ее серебристые косы. Под подбородком мешочками висела морщинистая, старческая кожа. Держалась бабушка спокойно, не стонала, не жаловалась, в ее поведении, как мне показалось, была какая-то торжественность...

— Момыш! — обратилась она к сыну. — Пошли гонцов к дочерям моим и внучке, пусть приезжают попрощаться со мной.

— Что вы, что вы, апа! — начал было отец.

— Ты сначала выслушай меня, — властно прервала его бабушка, — за лекарем посылать не надо. Муллу тоже не приглашай пока, вот когда у вас с Момынтаем будет свободное время, подойдите ко мне и поочередно кладите в мое ухо слова святого корана. — Бабушка немного задумалась. — Серкебая не приглашай, он на всех кричать будет. Но если он сам приедет, пусть тогда Момынкул его не раздражает...

Отец хотел было что-то сказать...

— Иди, иди, делай, как я говорю, — спокойно и повелительно остановила его бабушка.

Время было зимнее. Мы все ходили на цыпочках.[109]

Отец и дядя поочередно дежурили у бабушки. Нас в ее комнату не пускали. Стирали бабушкино белье и платье, объясняя, что старуха требует все чистое, штопали и чинили ее одежду.

Через трое суток все были в сборе: две дочери бабушки и Убианна.

Однажды бабушка потребовала нас всех к себе. Когда мы вошли, она полулежала на постели.

— Ну, дети, мне скоро пора, — и, чуть улыбаясь, сказала:

— Покажите мне мое «приданое» и мое «свадебное платье».

Тут старшая тетка Пияш начала всхлипывать.

— Не плакать! — приказала бабушка.

Сначала отец развернул перед ней отрез белой материи на саван — «свадебное платье», белую тонко скатанную кошму, затем коврик, которым она впоследствии была покрыта, далее — все ее платья и одежду.

После осмотра бабушка подозвала к себе дядю и попросила его вслух почитать строки корана.

Мы очень растревожились, думая, что она сейчас умрет. Дядя, тоже взволнованный, дрожащими руками открыл книгу и начал читать коран.

— Эй, мальчик мой, куда же ты задевал «Во имя аллаха милосердного»? — прервала его бабушка.

— Хвала аллаху, господину вселенной... — сконфузившись, начал читать дядя нараспев традиционный эпиграф корана.

— Хорошо, — сказала бабушка. — Теперь читай. Дядя прочел краткую главу, а бабушка лежа внимательно слушала. Окинув нас взором, она сказала:

— Теперь идите, дети, отдыхать, я сама позову вас еще раз.

Мы ушли в другую комнату. Через некоторое время пришел отец, которого сменил на дежурстве дядя. Вдруг раздался крик:

— Плохо с апа! Плохо с апа!

Мы все вскочили с постели, разбуженные голосом дяди.

Отец побежал, одеваясь на ходу.

Когда мы с Алиманной перебегали расстояние, отделявшее наш дом от бабушкиного, предутренний рассвет [110] прорезал женский крик, доносившийся из дальней хаты нашего соседа Айнабека.

Мы вошли, держась за руки, и увидели: отец сидит у изголовья бабушки и громко читает коран. Бабушка лежит с закрытыми глазами. Вокруг нее стоят все молча, встревоженные. Дядя хотел что-то сказать дрожащим от слез голосом:

— Апа! Апа!

— Не мешай ей слушать слова корана, — прикрикнул на дядю отец и продолжал чтение...

Бабушка чуть-чуть приоткрыла рот, слегка дернулся ее подбородок, и она застыла навсегда. Отец произнес:

— Прощай! Прости мать! — Он закрыл ее лицо белым платком и встал со своего места.

Дядя и тетки мои заплакали.

Вошел Айнабек и выразил соболезнование. Когда все несколько притихли, он сказал:

— Сегодняшним утром аллах призвал одну из нашего аула к себе, а другую прислал к нам!

Из этих слов мы поняли, что его жена родила девочку. Впоследствии ей дали имя бабушки, и девочка считалась ее дочерью. Пришедшие соседи расчистили двор от снега, затем установили юрту, туда вынесли бабушкино тело.

В нашем оседлом районе в зимнее время покойники последние сутки «гостили» в юрте. Не знаю, с чем связан этот обычай: с желанием ли предков наших — в последний путь отправиться из юрты — любимого жилища кочевника, или с желанием живых — держать тело покойника в холоде. Но как бы то ни было, в нашем районе появление юрты у какой-нибудь зимовки служило сигналом, что в этом ауле кто-то отошел в вечность.

Бабушку положили по правую сторону юрты, и тело ее загородили ширмой из плетеного тонкого тростника. В юрте сидели пришедшие из ближних аулов старухи, Я и дядя, опираясь на палки, стояли около юрты. Отец был занят распоряжениями по подготовке к похоронам.

Со всех концов начали стекаться люди в наш аул, чтобы попрощаться с бабушкой. Они шли из соседнего аула группами и, приблизившись к нашему аулу, бежали с возгласом: «Бабушка моя! Бабушка моя! [111]

Подходившие к нам делали вид, что они тоже плачут, обнимались с нами, заходили в юрту, обнимались с женщинами, затем выходили оттуда. Плач прекращался, и тогда кто-нибудь из пришедших старших от имени своего аула выражал нам соболезнование и поминал добрым словом бабушку.

Приходила следующая группа, за нею еще, и так до самого вечера. Вечером мы с дядей сошли со своего поста «скорбящих часовых». По обычаю, в доме, в котором покойник, не варится пища, и наши соседи принесли нам еду и чай в своей посуде.

На следующее утро начали прибывать из дальних аулов верховые, чтобы присутствовать на панихиде. Мулла, седой старец, в чалме и белом халате прочел молитву. Старухи обмыли бабушку, одели в саван и, положив на белую кошму, завернули в нее тело. Отец роздал присутствующим «жиртыс» — отрезы материи и деньги. Затем он подозвал нас всех и дал по горсточке серебряных монет.

Отец с дядей пошли в юрту и на своих плечах вынесли «табыт» — покрытые ковром носилки с телом бабушки. Все присутствующие окружили их. Дети бросали горсточки монет на табыт. Люди подхватывали их на лету или просто брали с ковра.

Табыт установили на земле метрах в ста от юрты. Дядя подвел к табыту коня, шилбыр (веревочный чем-бур) передал в руки муллы. Мулла и все присутствующие отошли от табыта шагов на сорок. Мулла, ведя коня за повод, вернулся шагов на десять и сел на землю. К мулле подошел пожилой киикбаевец Эстеулет и сел напротив него. Мулла прочел молитву и отдал конец шилбыра Эстеулету и, не выпуская из рук шилбыра, начал ему «передавать грехи бабушки».

— Ты, раб божий, — говорил он Эстеулету, — принимаешь ли на себя грехи покойницы?

Мулла перечислял грехи, виденные глазами, услышанные ушами, произнесенные устами, совершенные в мыслях и телом.

На каждый вопрос Эстеулет отвечал: «Принимаю».

После каждого «принимаю» мулла понемногу отпускал повод из своих рук. Когда же наконец все возможные грехи покойницы были взяты на себя Эстеулетом, мулла напомнил ему, что он обещал замолить перед создателем[112] усердными молитвами все грехи, когда бы то ни было совершенные покойницей, и выпустил из рук шилбыр.

Эстеулет встал и увел коня к себе домой.

Мулла подошел к табыту и призвал народ к молитве. Все выстроились и вслед за муллой помолились за упокой души бабушки.

Тогда к табыту подошли отец и дядя и подняли его на плечи. Похоронная процессия двинулась на кладбище. Шли только мужчины, женщины же остались в ауле. Шли молча, опустив головы.

Свежевырытая могила на холме была уже готова.

Нынче в городах и в некоторых аулах гроб начал входить в обиход, но наши предки считали великим грехом заколачивать тело покойника в сбитые доски, говоря: «Из земли сотворенный в землю должен быть возвращен, прах к праху присоединен».

Чтобы убедиться в исправности бабушкиной могилы, отец полез в нее, лег головой на запад, развернул руки в стороны, приподнялся, сел, осмотрел ее и вышел. Так как отец мой был маленького роста, щупленький старик, а бабушка была покрупнее его, он усомнился, видимо, в правильности своей «примерки» и потому дал знак дяде спуститься в могилу. Тот покорно проделал то же самое, что его старший брат, но чувствительный характер дяди не выдержал этой процедуры, и он начал всхлипывать, на что отец рассерженно прикрикнул:

— Тейт ***(не смей)***! Не пачкай землю слезами! Вылезай живо!

Так оба сына сначала сами побывали в бабушкиной «комнате», прежде чем она сама вселилась туда навечно.

Завернутая в белую кошму, на руках своих сыновей бабушка плавно опустилась в свой покой. Развернули кошму, развязали узлы савана у головы и ног, открыли лицо, поправили голову, лежащую на запад. Отверстие ниши заделали кирпичом и начали засыпать «коридор». Каждый из присутствующих бросал землю, произнося прощальные слова и приговаривая: «Иманын жолдас болсын» (да сопутствует тебе добрый дух), «жаткан жерин торка болсын» (да будет твое место, где лежишь, мягким как пух)...[113]

Дядя, рыдая, опустился наземь, и, ухватившись за голову, бормотал: «Ах! Там темно стало!»

— Перестань выть! Встань! — крикнул на него отец.

Дядя приподнялся и, все еще всхлипывая, лопатой стал сыпать землю, произнося положенные прощальные слова.

Вырос надмогильный холмик. Все опустились на колени вокруг могилы. Мулла сел у западного края могилы и прочел молитву. Все сидели молча еще минут пять после того, как мулла кончил молитву. Потом все встали и пошли. Отойдя шагов сорок, все внезапно повернули назад, и, подойдя к могиле, начали громко говорить добрые слова о бабушке: правоверная магометанка, она была честной женщиной, никого не обижала ее добрая душа. Потом отошли снова и более не возвращались.

Считалось, что когда люди отходят на сорок шагов, в это время в могилу входит архангел Жебраил для допроса покойника, и Люди возвращаются «на выручку», чтобы в случае, если покойник растерялся и невнятно отвечает на вопросы божьего следователя, засвидетельствовать всем миром и убедить Жебраила, что умерший на земле был вполне добропорядочным человеком. Жебраил, поверив живым, прекращает допрос, покидает покойника и улетает, чтобы доложить создателю о том, что прибыла еще одна праведная душа, покинувшая его грешное стадо на лживом месте.

Все вернулись в аул. Женщины встречали нас с плачем. Подали чай, после него бесбармак, приготовленный уже нашим домом. Ели и читали молитвы по бабушке, говоря: «Тие берсш» (да дойдет до нее). В конце «бабушкиного ужина» отец положил перед муллой пачку денег, и от имени всех выразил ему благодарность за отправление молитвы по покойной.

Вещи и украшения бабушки положили в сундук и заперли.

Родня погостила еще три дня в траурной обстановке и разъехалась. Тетки мои и Убианна поплакали на прощание по бабушке и просили нас не забывать, что объединяющий всех нас узел, каким была бабушка, развязан, и что теперь настала пора укреплять и поддерживать братские и сестринские чувства. В свою очередь наши ответили с должной вежливостью, что память бабушки налагает на нас еще большую ответственность в поддержании [114] дружественных и родственных связей и их укреплении.

Каждую пятницу зажигались сальные свечи и читались молитвы.

Хотя казахи в шутку считают, что смерть старух — «торжественный акт», но все же мы кончину бабушки переживали глубоко, и нас всех, начиная от отца и кончая самым младшим в семье — мною, долгое время не покидало чувство осиротелости.

Бабушкина смерть была первой смертью, которую я видел, и ее похороны — первыми похоронами с соблюдением всех казахских церемониалов, в которых я участвовал.

После смерти бабушки наш дом долго хранил траур. Все грустили, всем чего-то не хватало. Домочадцы хмуро перекидывались между собой словами только по самым неотложным домашним делам. Все были молчаливы, как будто бабушка унесла с собою веселье, споры, драки и галдеж детворы, семейную суету, праздничность обедов и вечеров за ужином. Женщины молча варили пищу, разливали и подавали нам, а мы молча ели свои порции.

Особенно чувствительный дядя ежеминутно печалил нас всех тяжелыми вздохами. Когда дядя ложился прямо на пол и, уставившись неподвижным взглядом на потолок, глубоко вздыхал, отец исподлобья посматривал на него. Мы все, глядя на дядю, сидели в тяжелом молчании.

— Момынтай! — обращался тогда отец к своему брату. — Встань, иди за скотом посмотри!

Дядя вставал и медленными шагами выходил из дома. На дворе он механически отвязывал лошадей и коров, выпускал баранов и коз. Те устремлялись к ручейку. Затем дядя брал из стога охапку сена и разбрасывал ее за изгородью. Скот бросался к корму, а он сидел на корточках и грустно смотрел на животных.

— Пойдем домой, — приглашал его отец. Дядя вставал и покорно шел за ним.

Нам всем не хватало бабушкиной власти, ее внушительного окрика, повелительных жестов, одобрительного [115] смеха, доброй ласки, жесткой строгости и хороших минут, когда она рассказывала нам сказки, а в морщинах вокруг ее глаз прятались легкие и хитрые усмешки.

Как в бою внезапная потеря командира вносит растерянность в ряды, так и в обыденной жизни, у очага, где все мы родились, росли, воспитывались и привыкли к строго установленному бабушкиному распорядку, произошла заминка, растерянность, и никто из старших пока не осмелился взять на себя роль бабушки и заменить ее. Как будто мы ждали ее, казалось, вот-вот она вернется, разбудит семью от тяжелого летаргического сна, даст живительный толчок. Но, увы, с каждым днем мы убеждались, что она ушла от нас навсегда.

Дедовская почерневшая от времени кровать из массивного дерева, с резьбой и облезшими, изъеденными красками, стояла на старом месте в левой стороне комнаты. Она выполнила свой последний долг перед хозяйкой — служила ей смертным одром. Скромная постель бабушки была аккуратно заправлена. По обычаю занимать кровать никому не полагалось.

По ночам мы больше не слышали ни старческого кряхтения, ни глубокого кашля, ни мирного сопения бабушки, и нас, малышей, никто больше ласково не заманивал.

Через две недели после смерти бабушки были зарезаны два жирных барана, приготовлен бесбармак, наварены баурсаки и приглашен весь наш аул. Старухи, обмывавшие бабушку, сидели на почетном месте, остальные — в порядке старшинства. Были прочитаны молитвы из корана по бабушке, и все пришедшие, пожелав ей «царства небесного», приступили к еде. За едой все молчали, но когда был подан чай, отец встал со своего места и прошел к центру полукруга среди сидевших гостей. Дядя встал рядом с ним. Сложив руки на животе, отец обратился к смуглой, в глубоких морщинах старушке в белом жаулыке, наверченном огромным воздушным пирогом на маленькой головке.

— Почтенная апа, — сказал отец, — вы со своими почтенными товарками, — он с уважением перечислил имена рядом сидевших с нею старух, — оказали нашей любимой матери и нам, вскормленным ее священным молоком, услугу, которую в состоянии оценить один бог...

— Все мы смертны, сын мой! Мы выполнили только [116] свой долг, — прошамкала старуха дрожащим голосом. Ей поддакнули такие же, как и она сама, древние подруги.

— Мы в неоплатном долгу перед вами, апа, — продолжал отец, а дядя, почему-то сутулясь, кивал головой как бы повторяя слова своего брата. Примите, почтенная апа, от всей души нашу благодарность!

Дядя и отец трижды глубоко поклонились старухам.

— Принимаем, принимаем, — пробормотала седая женщина в белом жаулыке. — Уважаем вас за то, что вы выполняете перед матерью свой сыновний долг.

— Вы, Момыш и Момынкул, в неоплатном долгу не перед нами, — зычным голосом перебила ее другая, бойкая, старуха, — а перед своей матерью.

— Спасибо вам, дети. Вы хорошо устроили ее похороны, — в свою очередь добавила третья. — Дай бог и нам так окончить свою грешную жизнь, как ваша мать.

— Нет. Они еще недостаточно сделали! — снова прокричала бойкая старуха. — Разве дети могут оправдать хотя бы сотую долю материнского труда, когда она вынашивала их под сердцем, выхаживала, не зная ни сна, ни покоя. Нет, вы такими не родились, это мать поставила вас на ноги, — закончила она.

— Ну да, ну да, вы правы, апа, — ответил отец, а дядя, расчувствовавшись, начал всхлипывать.

Домочадцы принесли бабушкины вещи и горой положили перед старейшей. Тогда та, что-то нашептывая беззубым ртом, начала раздавать вещи старухам. Когда вещи были розданы и остались только украшения, старуха сделала паузу, осмотрелась и, сказав несколько слов, раздала их более молодым женщинам: одной серьги, другой кольцо, остальным браслеты, коралловые бусы, говоря: «Носи на память».

Когда все разошлись, двое мужчин вынесли из дома бабушкину кровать, поставили на крышу дома, где ее долго прожигало солнце и обвевал ветер.

После этого в доме не осталось ничего из вещей, что напоминало бы нам о бабушке.

«В неоплатном долгу перед матерью»... — эти слова бойкой старухи глубоко врезались в мою память. Я понял, сколь многим — жизнью и существованием своим — мы были обязаны бабушке. Особенно это подчеркивалось неутешным горем дяди, который больше всех [117] нас был потрясен смертью бабушки. Ведь бабушка при жизни больше всего покрикивала именно на своего младшего сына, и мне стало стыдно за себя, что я ее смерть переживаю не столь сильно, как дядя.

И я стал ходить следом за дядей, с детской искренностью подражая ему во всем, тем самым желая исправить свою ошибку, свой проступок, допущенный в отношении памяти бабушки. Я знал наизусть несколько молитв, которым научил меня отец, и, ложась спать, произносил их про себя, в душе посвящая их бабушке.

Через несколько дней отец, видимо, освободился от дел и хлопот, связанных с ее смертью. Все реже стали посещать наш дом соболезнующие нам, которые, не здороваясь, входили и без приглашения садились на почетное место, шептали слова молитвы, выражали сочувствие нашему горю: «Такова судьба человеческая!» «Да произрастают ее ветви!» «Благоденствуйте, живущие!».

Обычно гостя поили чаем, и отец или дядя провожали его, помогая ему влезать на коня.

Обычай запрещал появлению кого-либо из членов нашей семьи в общественном месте, чтобы избежать встреч со знакомыми, еще не побывавшими у нас, не выполнившими долга выражения соболезнования.

«Только недавно похоронили родного человека, а уже разъезжают!» — так осуждали в народе тех, кому не терпелось сбросить траур.

«Ты до сих пор не посетил дом, который навсегда покинул человек, оставив в горе своих ближних», — укорял народ тех, кто запаздывал с выражением соболезнования.

Мы стали домоседами, а люди, оказавшиеся поблизости от аула, спешили в наш дом, чтобы выполнить свой долг.

Выражение соболезнований по умершему делится на две категории: «Конил айту» (говорить успокоительные слова) распространяется на всех знакомых и близких покойника. Те из знакомых, которые не были на похоронах, выражают свое сочувствие, заехав в аул или при случайных встречах на базарах. Каждый вошедший в дом впервые после похорон свой визит начинает с чтения молитвы, выражения соболезнования и не разрешает себе никаких деловых разговоров или веселья. Дело, если оно имеется, откладывается до следующей встречи. [118]

Второй вид: «Бата оку» — чтение молитвы по покойнику. Эта форма выражения соболезнования соблюдается всеми, имеющими какое-либо родственное отношение, и «тамырами» — задушевными друзьями.

Обыкновенно приезжали все взрослые из семьи соболезнующего в сопровождении трех-четырех человек из своих аульных друзей. Они привозили в коржуне зарезанного барана, баурсаки, чай, сахар и «бата окырлык» для чтения молитвы (скот или деньги).

Читались молитвы за упокой души умершего, устраивались угощения — поминки. Многие семьи тут же возвращали «бата окырлык», прибавляя от себя «жиртыс», который раздавался сопровождающим. Каждая из сторон старалась делать широкие жесты, подчеркивая, что они ничего не жалеют для упокоения души ближнего — что на этом ложном свете богатство не имеет никакого значения, и надо делать все, чтобы выполнить свой долг перед покойным, воздать должное его душе.

Поминальные церемонии по бабушке продолжались вплоть до годовщины ее смерти. Приезжали к нам все наши родственники от всех ветвей — как мне помнится, их было двадцать две семьи. На каждый месяц приходилось по два поминальных поезда. Эти визиты дали мне возможность познакомиться со всеми нашими родственниками из далеких районов. Среди них были и зажиточные, и середняки, и бедняки. Для последних этот акт обходился недешево — они привозили свое последнее. Отец и дядя к ним были особенно внимательны. Я помню, как приехал наш племянник Арыстан из-за Бурулдаев в сопровождении двух таких же оборвышей, как он сам. Привезли они несколько фунтов мяса, купленного, по-видимому, на базаре, пачку чая и фунт сахара. Положили на скатерть несколько пятерок и с виноватым видом сказали:

— У бедного руки коротки, но от чистого сердца бабушке ставим.

Они нами были приняты с почетом, пятерки им вернули обратно и прибавили вдвойне. Арыстан простодушно тут же разделил деньги поровну и роздал своим товарищам.

— Хорошо, что бедняку не сопутствует мерзкая скупость, — говаривал впоследствии отец, вспоминая скромность Арыстана и скупость богатого Кырыкбая и его [119] правило: «Состояние накапливается из копеек». Да, действительно, как и у всех народов, наши бедняки пренебрегали правилами Кырыкбая и не были копеечниками...

Кырыкбай был богатым человеком, моя тетя Пияш была его второй женой. В семье Кырыкбая она не находилась на втором положении, но все же вынуждена была считаться с мужем.

Однажды дядя повез меня к ним в гости. Кырыкбай жил скупо и неряшливо. Посреди юрты сидел болезненный старик и вмешивался во все дела домашней кулинарии. «Сварите десятка два баурсаков». «Положите щепоточку чая в чайник, чтобы не получилось густо, как прошлый раз». «Положите в котел вот эти куски мяса». «Побольше лейте воды в котел, чтобы всем домашним хватило сурпы». «Месите тесто в два кулака, для гостей этого будет достаточно». «Зачем так много чистого кизяка принесли?». «Куда столько соли кладете? Она же не валяется, как камни Кара-Тау». «Накормите батраков болтушкой». Так покрикивал он, и выкрики эти заполняли весь вечер. Все домашние покорно выполняли все его приказы. Этот сварливый старик никому не давал ничего делать, не сопровождая своими замечаниями. Его жены, снохи и сыновья не возражали ему, но на их лицах была ненависть, а в глазах можно было прочесть: «Когда же ты помрешь? Скоро все уши будут продырявлены твоими упреками».

Когда подали чай и рассыпали десятка два баурсаков на дастархане, Кырыкбай велел подать три куска сахару, сам расколол два на мелкие кусочки и рассыпал по скатерти, а третий вернул обратно, велел положить в сундук и справился, сколько еще кусков сахара осталось.

— Должно быть, двадцать, — ответила Пияш.

— Как двадцать? Утром было двадцать семь, два куска я сейчас расколол, один вернул, остаться должно двадцать пять, — заволновался Кырыкбай.

— Да ведь дом не без гостей, — оправдывалась Пияш. — Сегодня из соседнего аула гостили.

— А зачем соседок приучать к чаю с сахаром?! — возмутился Кырыкбай.

Слушая этот странный, непривычный для меня семейный разговор, я не заметил, как по знаку Кырыкбая убрали дастархан.

Когда бесбармак сварился, Кырыкбай снова начал:[120] «В эту тарелку вот этот кусок положить, в эту тесто положить, а этот остаток разрезать на мелкие кусочки и с остатком теста раздать остальным».

Нам подали чашу на троих. Кырыкбай, засучив рукава, начал разрезать мясо на куски. Когда все было готово, он пригласил нас приступить к еде. Я попробовал — тесто было непомерно толстое и соленое. Видимо, сноха, месившая тесто, соль не рассчитала на «два кулака». Мясо было недоброго качества и чуть припахивало. Я во второй раз не полез в чашу. Дядя делал вид, что кушает, поднося пустую руку от чаши ко рту, а Кырыкбай, как голодный волк, уплетал бесбармак. Его многочисленная семья копошилась вокруг казана, протягивая руки и украдкой отправляя в рот полученные кусочки.

Кырыкбай очистил чашу до дна, вытер руки о голенища, выпил поданную сурпу и погладил бороду.

— Бап бопты! Бап бопты! — сказал он довольным от сытости голосом: — Как раз, как раз что надо вышло. Зачем напрасно лишнее готовить? Всегда делайте так! — поучал он недоумевающих жен и снох, а полуголодная семья, понурив головы, смотрела вниз.

В полночь я проснулся.

— Ты чего не спишь? — спросил дядя. — Есть охота.

— Тише! Стыдно будет, потерпи немного, а утром поедем к Келимбету, там тебя хорошо накормят.

Рано утром дядя поспешил под каким-то предлогом покинуть аул Кырыкбая. Уехали мы голодными.

Келимбет был свекром младшей моей тетки Убикуль. Он жил верстах в двадцати от аула Кырыкбая в Кара-Тау, в ущелье Борказган, что значит, известковое ущелье. Он также был многосемейным, но считался бедняком, вернее, маломощным середняком. У них в ауле все было чисто и аккуратно. Вся семья встретила нас радушно. Нас искренне приветствовали и расспрашивали о здоровье.

Первым делом дядя заявил, что мы голодны. Тут, пока вскипел самовар, добрая худощавая смуглая старуха, свекровь тети, быстро подала нам хлеб, курт, масло, сливки, молоко.

Наевшись досыта, я посмотрел на дядю и сказал, подражая Кырыкбаю.

— Бап бопты! Бап бопты! Как раз что надо вышло.[121]

Дядя расхохотался и рассказал за чаем о вчерашнем вечере, проведенном у Кырыкбая. Вся семья Колимбета, дружно и запросто сидевшая за дастарханом, покатывалась от смеха...

Но я немного отклонился от темы. Итак, за год, прошедший после смерти бабушки, у нас побывали все родственники по всем линиям и ветвям. Приезд Серкебая был пышным и подчеркнуто эффектным. Серкебай привез щедро наполненные поминальные коржуны. На этот раз он был молчалив, не кричал на дядю. Он сходил на могилу к бабушке, часто вздыхал и охал, говоря, что теперь он один остался из старшего поколения нашей семьи, называл себя одиноким. Видимо, старик переживал, что настает теперь его черед по возрасту покинуть этот ложный свет. Он не пропускал времени намаза (молитвы), чего я раньше не замечал за ним. Теперь он не требовал, не приказывал, а просил дядю регулярно читать коран за упокой души предков. Он даже раза два ласково назвал дядю уменьшительным Момынтай, как иногда в добром настроении звала его бабушка. Смерть бабушки и одиночество укротили пылкий характер Серкебая, но не надолго...

Поминки по бабушке прошли почтительно.

Да, казахи умели радоваться появлению новорожденных, счастью новобрачных, осыпая их поздравлениями, и умели чтить память умерших. Это входило в нормы поведения, это был общественный долг, обязательный для всех.

Когда хлопоты в связи с поминками улеглись и были совершены визиты всеми ближними, отец начал читать по вечерам в свободное время коран об упокоении души бабушки. Эти своеобразные панихиды совершались им серьезно и торжественно, и в них была вовлечена вся семья.

Чтению корана, как и молитве, предшествовало омовение. Из сундука отец доставал большую пожелтевшую книгу в кожаном переплете. Он нес ее осторожно и садился посредине разостланной чистой кошмы — текемета, отделанного орнаментом. Отец прикладывал коран ко лбу, к бороде и, принимая молитвенно-торжественную позу, начинал читать. Мы полукругом усаживались возле него и внимательно слушали. Он читал медленно и

нараспев, почти по слогам непонятные нам арабские слова, [122] делая особенно протяжный запев на последнем слове каждой строки.

Нас увлекала поразительная певучесть рифм, ритм непонятного, но благозвучного языка пророка, любимца бога, как нам с малых лет внушали о Мухаммеде — пророке правоверных мусульман.

Несмотря на то, что слова нам были непонятны так же, как и содержание читаемого, серьезная, сосредоточенная поза отца во время чтения, его взволнованный, дрожащий голос покоряли нас, и нам казалось, что действительно он через эту книгу, лежащую перед ним на большой подушке, разговаривает с богом. Мы не разрешали себе во время чтения ни одной детской шалости.

Чтение корана продолжалось час, иногда два. Отец отрывал руки от раскрытой книги, которую он перелистывал, и, закрыв глаза, наизусть произносил начало суре корана, подымая раскрытые ладони рук. Мы тоже вытягивали перед собой свои ручонки, слушая заключительные слова отца, которые он говорил по-казахски, на родном, понятном нам языке:

— О всемилостивейший и всемогущий создатель восемнадцати тысяч тварей, летающих в небесах, двигающихся по земле и плавающих в водах! О творец вселенной, священного солнца, серебристой луны, мерцающих звезд, неба и земли! О мудрый создатель света того и другого, твердыни земной и бескрайней синевы океанов и морей, бурных рек и покрытых узорами цветов степных просторов, величественных гор и гранитных скал зубчатых!.. Мы, потомки твоей рабыни, одноутробные братья и сестры, внуки и внучки, склоняем перед тобою свои головы и обращаемся к тебе с молитвою от чистого сердца об упокоении души родительницы нашей, покойной матери нашей... Да прости ты ей не по заслугам, а по милости твоей все ее земные грехи и прими ее душу в светлые края твоего небесного царства. Аминь! Да дойдет наша молитва до твоих ушей и да будет принята тобою!

Произнося это, отец троекратно гладил свою длинную бороду с проседью, а мы — свои детские личики.

Я вспоминаю теперь, что заключительные слова отца производили особое впечатление на мой детский ум и мое детское воображение устремлялось в дальние, далекие пути. [123]

Когда он говорил о «его всемогуществе», мне представлялся великан с громадным молотом, дробивший огромные глыбы камней. Отец произносил: «О всемилостивейший», и в моем воображении великан останавливался и расплывался в широкой доброй улыбке. «Создатель восемнадцати тысяч тварей», — провозглашал отец, и перед моими глазами мелькали птицы, жуки, жеребята, ягнята, козлята, верблюжата... »Творец морей и рек, суши, просторов степей и гор». При этих словах по мановению руки великана в степи возникали громадные водоемы. Вода, хлынув, разливалась в моря и реки. Огромной лопатой великан черпал землю, делал запруду, и эта куча земли превращалась в гору.

«Сыновья и внуки твоей рабыни»... Это меня оскорбляло, я не хотел быть внуком рабыни. В моем воображении образ моей властной бабушки никак не мирился с понятием рабыни. Я не хотел ее представлять себе униженной и оборванной.

«В светлом уголке твоего небесного царства...» Я вспоминал крик дяди «Ой, темно!», когда засыпали могилу бабушки при ее погребении. Мне было тогда страшно, и было жалко бабушку, и теперь, искренне глотая слезы, я произносил с отцом: «Предоставь ей светлый уголок в твоем небесном царстве».

Еще мне врезалось в память: когда умер мой двоюродный брат Аруан, единственный сын моей тетки Айсы, старуха, бледная, обливаясь слезами и задыхаясь от гнева, рвала в клочья все на себе и, распустив седые волосы, в приступе неутешного горя, проклинала аллаха, называя его из ума выжившим старцем... Я был потрясен, и до сих пор еще остается в моей памяти как выражение беспредельного материнского горя этот протест против смерти, обрывающей молодую жизнь.

Всеобщая покорность старших аллаху, с одной стороны, и проклятия тетки, с другой, не умещались в моем детском сознании. Я иногда уходил из дома к роднику, и там представлял в своем воображении аллаха. Мне хотелось найти его, увидеть.

И вот, как бы идя навстречу моему воображению, в центре небосвода вставало большое белое облако в форме громадной сидящей фигуры. Вот он! Я, не отрываясь, всматривался в облако и лепил в своем воображении могучего старца в просторном белом халате с лохматыми [124] седыми вьющимися волосами и длинной бородой

Облако растягивалось, и я как бы видел в профиль его белые брови и длинные ресницы. Вот он поворачивается, и мне казалось, что он следит за всеми...

...Приехала погостить Убианна. Она помнила лучше всех нашу маму и попросила отца читать коран и по ней. Отец исполнил ее просьбу. Теперь читался коран не только по бабушке, но и по всем умершим нашим предкам, с упоминанием их имен и непременным повторением слов: «твоего раба», «твоей рабыни». О многих наших предках мы слышали впервые, и отец, ощутив наше равнодушие к их именам, после окончания чтения рассказывал, кем они приходятся нам, как провели свою жизнь, какие они были, и какой был у них характер. Мы с удовольствием слушали воспоминания отца. Он умел рассказывать интересно, и вечера стали не только молитвенными, но и в определенной мере литературно-художественными. Все мои воспоминания о нашей родне и некоторые предания о наших родичах почерпнуты из этой «вечерней школы» отца.

В это время отцу исполнилось шестьдесят лет. С момента, когда я начал помнить себя, отец уже был с проседью в бороде, но при жизни бабушки мне не приходило в голову, что он — пожилой, стареющий человек, так как он для бабушки, живой матери, всегда оставался ребенком, над которым она проявляла родительскую власть. При жизни бабушки он был в семье лишь старшим из детей. Когда есть в доме старик или старуха, все кажутся при них молодыми. Отец для нас теперь перестал быть молодым.

— Мы — семья, мы — народ, — говорил отец. — В семье старики умирают, молодые рождаются и живут, но народ не знает смерти. От матери нас в живых два брата, шесть сестер, а внуков у нее по всем линиям, слава богу, в живых двадцать три. Всего она оставила тридцать один корень. И у вас, дети мои, будут корни, — так он обычно кончал свои рассказы.

Весной наша семья ортачила вместе с русским мужиком Кузьмой Гончаровым, рыжебородым, с красными веками, морщинистым стариком. Он был многосемейным. Старшего сына мы звали Сашке, другого — Некоди, [125] третьего — Тишко, четвертого Керилля, моего сверстника — Василь, старуху — Матьке, а двух снох — Саньке и Маньке.

Казахи никогда не произносили имена и фамилии русских правильно, всегда их перекрещивали по-своему и давали им клички по внешним данным или характеру: Кызыл Жагор, — красный (рыжий) Григорий, Дмитрий — Метрей, Лука — Илуукэ.

С Кузьмой мы ортачили на таких условиях: земля наша, семена поровну, тягловая сила его. От нас во время сева и уборки работал дядя. Остальное неравенство во вкладах и в труде Гончаровы компенсировали молоком и мясом.

Гончаров приехал к нам в аул со всей семьей на двух бричках, с железными плугами и боронами. Они с отцом обмерили саженями землю, дядя помогал и учился собирать плуг, «амуничивать» коней хомутами, шлеями и постромками.

Начали пахать: два плуга один за другим волнами разбрасывали землю № прокладывали глубокие борозды. Нам, привыкшим царапать землю омачами, казалось, что плуги прямо разворачивают землю «до дна». Я долго бегал, наблюдая, как плуги режут жирную землю и отбрасывают ее своими крыльями, оставляя глубокую прямую борозду. Четыре добрых рыжих коня тянули плуги. Мы с Василием ездили за плугами, волоча за собой борону.

Если при пахоте омачом оставались между бороздами прорехи и пахота пестрела ими, и кое-как пробороздённая дышлом земля лежала комьями, то теперь тяжелые железные бороны разбивали комья, и за нашим следом мелкими волнистыми рядами лежала ровная пахота. Я смотрел часто назад и любовался черными волнами земли.

Гончариха варила в чугунках пищу. Наши женщины с любопытством наблюдали за нею и дивились множеству овощей.

Более подробно о семье Гончаровых и нашей дружбе с ними я расскажу несколько позже.

* * *

Кончились зимние вечера.

Пришла весна. В этом году месяц наороз, первый день которого считается новым годом по самсатскому [126] календарю, пришелся в самый разгар доброй весны, когда она начинала раскрываться во всей своей красе.

Стояли мягкие, ясные, солнечные дни... Зелень иглами пробивалась сквозь толстый покров земли. На ветвях деревьев, посаженных дедом, набухали почки. Ледяные вершины Ала-Тау ослепительно сверкали, отражая лучи солнца. Земля отдавала легким паром, со скотных дворов доносился прелый запах навоза. Уже появились и птички-певуньи и на все лады закричали и защебетали. Высоко в небе пролетали вереницы журавлей.

Коровы телились, овцы ягнились... Все радовались, суетились, повсюду принимали новорожденных. Коровы перед отелом становились какими-то особенными: их глаза блестели, раздувались ноздри, как бы к чему-то прислушиваясь, они, навострив уши, рвались на волю... По этим признакам, которые казахи называют «бошалау», мы знали, что корова с часу на час должна отелиться, и следили за ней.

... Дядя, приняв рыже-красного теленка, тут же подул ему в лоснящиеся ноздри и осторожно положил его на солому. Корова, мыча и угрожая нам рогами, подходила к «младенцу» и шершавым языком лизала его мокрую короткую шерсть. Теленок пытался встать на свои длинные тонкие ножки с прозрачными хрящиками копытец и... падал; делал еще попытку и снова падал, все дальше уползая от соломенной подстилки. Мать оберегала его и не подпускала нас к нему. Но вот наконец теленок, шатаясь на тонких, как прутики, ножках, сделал первые два шага и, тыча мордочкой в брюхо матери, стал искать сосок вымени, но, не находя его, снова падал... Тогда дядя подходил к корове, строгим окриком прекращая ее ревнивый протест, пальцем оттягивал соски, чтобы прочистить их, и подносил теленка к вымени. Ощутив, что теленок сосет, мать успокаивалась и отдавалась блаженству первого кормления своего детеныша.

Все эти сценки вызывали умиление и восторг домочадцев.

Но вот стремглав несется к нам с криком радости сестра Алиманна. Шлепая босыми ножками, она несет новорожденного — черного кудрявого ягненка, за ней бежит жалобно блеющая овца...

Исхудавшие за зиму, еще не перелинявшие жеребята паслись, пощипывая зеленую траву, Они резвились так [127] забавно в своих, казалось, навыворот одетых, рваных шубенках.

Тяжелые воспоминания о зиме были быстро забыты в общей радости животных и людей, которую принесла весна.

Дядя стучал топором, приводя в порядок примитивный сельхозинвентарь, готовясь к севу.

Женщины парили зерно пшеницы и колотили его в ступе, чтобы очистить от кожуры, ставили большие казаны и варили новогодний перловый суп, заправляя его молоком.

Начиналась встреча нового года — весны.

Из аула в аул шли люди поздравить с весной соседей и откушать «науруз куже». Каждый мог зайти в дом, поздравить с наурузом и получить от хозяйки миску супа. Гость садился и, приступая к еде, приговаривал:

— Благодарим судьбу за то, что встречаем в своей жизни еще один новый год.

Суп полагалось хвалить и съедать весь.

Попадались женщины, которые, отличаясь коварством и пристрастием к злым шуткам, специально хранили большую деревянную миску и, когда входил тот, на кого они имели «зуб», до краев наполняли ее супом и преподносили своей жертве. Тот суеверно, не смея отказаться, садился в угол и, не справляясь с такой солидной порцией «божьего пайка», ел его целый день до позднего вечера. Когда же он, обессиленный, останавливался, чтобы передохнуть, его торопила хозяйка:

— Ешь, ешь, мой мужественный герой, я желаю тебе в этом году столько счастья, сколько зернышек в твоей миске!»

— Спасибо, дорогая, я же ем, — бурчал в ответ гость. — Ешь, ешь, незабвенный, ешь пока горячо, не давай своему счастью остыть!

— Ешь, дорогой, пусть чаша твоих желаний будет такой же полной, — ехидно поддакивал хозяйке другой гость.

И пока первый мучился над огромной миской, остальные рассказывали анекдоты, острили, шутили, пели и читали стихи в честь весны. Это были своеобразные торжественные тосты...

Как весенней порою шумят тополя,
Ходит ветер, цветочною пылью пыля, [128]
Все живое обласкано солнцем степным,
Пестроцветным ковром зацветает земля.

Верблюжонка верблюдица громко зовет,
Блеют овцы, в кустах птичий гомон встает,
Мотыльки над травой и в ветвях тополей,
Заглядевшихся в светлое зеркало вод.

Сколько птицы! В любом приозерном пруду,
Тронь осоку — и птица пойдет в высоту.
Скачешь — смотришь, как спущенный сокол ручной
Из-под облака бьет гуся на лету...

Кто лучше тебя, Абай, сказал о нашей казахской весне! Я впервые той весной услыхал твое имя. Отец за обедом рассказал, что далеко, «за семью реками», живет Абай, из рода Тобыкты, что он «болыс» — волостной управитель, что он самый умный из рода Тобыкты, и что он не только «болыс», но и сочиняет хорошие стихи, что он большой акын, и песни его поет вся степь.

Когда весеннее солнце пряталось за край земли, мигая косыми лучами, люди расходились, желая друг другу полного счастья в новом году…

* * *

Почтовая станция, где дядя в трудный год служил ямщиком, стояла на тракте Ташкент — Фрунзе; Этот тракт был прозван «черной дорогой», по-видимому потому, что она среди засеянных полей действительно прорезала черной лентой наши поля.

«Черная дорога» проходила по возвышенной местности, откуда берет свое начало «Тысяча родников». Насколько я помню, дорога эта на всем своем протяжении ни разу не пересекает ни одного из этих ручейков, пробивших свой путь в многочисленных балках. Она служила для нас границей двух угодий: посевного и пастбищного. Возвышенная местность идет на юг от этой дороги, к Ала-Тау. Почва здесь усыпана мелким щебнем, поэтому ее не пахали, а пасли на ней скот.

Весной наш аул, чтобы не травить скотом посевы и сенокос, всегда откочевывал на летовку и проводил все лето в нескольких верстах от дороги, заселяя возвышенность белыми грибами юрт.

Земледельцы, у которых было немного скота, не уходили к далеким подножиям Ала-Тау, потому что и здесь было достаточно корма. Они были привязаны к своим [129] посевам и лугам — лето у них было трудовое. Обычно к Ала-Тау откочевывали более зажиточные.

Там, на небольшом клочке земли, радиусом не более пятнадцати-двадцати километров, на каждом отрезке, приближающемся к горам, весна запаздывала на несколько дней и недель, климат и растительность отличались ступенчатостью: чем выше, тем холоднее.

Эту особенность, нашего края шутник нашего аула Токмырза приписывал рассеянности аллаха при сотворении мира.

— Сотворил аллах мир этот грешный, — рассказывал шутник одному из гостивших у нас степняков, — устал старец после трудов тяжелых и задремал. Очнулся, смотрит: забыл создать наш район. Нахмурился он, рассердился на себя. Сердясь, оторвал кусок ледника с Гималаев и швырнул сюда, — Токмырза показывал на Ала-Аау. — Пока бог оглядывался по сторонам, ледник начал таять, и потекли тысячи ручейков. Тогда он оторвал кусок от южных гор и влепил его сюда, — он показывал на Кара-Тау, — чтобы запрудить эти ручьи. Делалось им это торопливо, впопыхах, и получилось, как видите: ручьи уперлись в Ала-Ту. Куда же им было деваться?.. И потекли они тогда по склону, с запада на восток. Вот поэтому та речонка и называется Терис, что

значит — обратная. Вот, уважаемые, почему у нас один клочок земли не похож на другой. А для того, чтобы в людях разнообразие было, привел он сперва из жарких иранских сторон в халате нараспашку — узбека, потом с берега Енисея — пухловеких киргизов, а вот совсем недавно — белобрысых русских. Это не то, что у вас, в степи, которая разостлана, как скатерть на ровном месте, и лежит себе под солнцем, и живут там лишь одни казахи. А у нас, друг, все разнообразно: хочешь горы — вот тебе горы, хочешь воды — вот она, хочешь хлеба — вот тебе хлеб, хочешь фруктов разных — на тебе их, хочешь базар — вот он тебе каждый день, а не то, что у вас: степь, скот, мясо и... все.

Уже несколько лет почтовая станция Бекет, единственное кирпичное здание в волости, стала местом больших собраний. Туда съезжалось со всей волости на сходку несколько сотен верховых.

Приезд Садыка Абланова совпал на этот раз с Первым мая. Аблановых было трое. Старшего народ знал [130] под именем Избасар и о нем отзывался как о необузданном самодуре, занимавшем в уезде какой-то пост, на котором он недолго удержался. Когда стало известно о его провале, многие не удержались от возгласов: «Так ему и надо!».

О Садыке Абланове народ отзывался как о степенном, прямом, неподкупно честном человеке. Говорили, что он знающий, обходительный, умный.

Первого боялись, но не уважали, второго — не боялись, но уважали. Народ определял свое отношение к братьям, особо подчеркивая их имена — Избасар Абланов, Садык Абланов.

Избасар приезжал с шумом, громом. На собрание он никого, кроме «депутатов», не допускал. Участников собрания он, как говорится, «тер в песок», оскорбляя, называл «шантрапой», «ослами», «верблюдами» и не стеснялся приукрашивать речи свои уличной бранью. Часто угрожал зачислением в «черные списки» и ссылкой в Сибирь. Все возвращались после собрания словно избитыми и, когда Избасар уезжал, смеялись над ним, карикатурно изображая его походку, интонацию и жесты-Собрания с Садыком отличались многолюдностью и скорее напоминали митинг. К нему спешили старые и малые и даже женщины. В народе говорили, что Садыка украшают вежливость и скромность.

Стоял ясный день. Накануне было объявлено, что завтра придет в Бекет Садык, и что он просил желающих из народа прийти послушать его. «Он сочтет для себя честью поделиться новостями с братьями и сестрами».

Отец и дядя решили забрать и меня с собой. Я быстро оделся и, радостный, поехал на коне, сидя позади дяди. По дороге мы догнали группу всадников, среди которых на своем Кок-шолаке ехал Аккулы. Он поздоровался с отцом своим обычным:

— Будь здоров, Момыш!

— Будь жив, Аккулы.

— Садыка слушать едешь?

— Да, Аккулы.

Аккулы, увидев меня сзади дяди, воскликнул:

— А, молодой джигит... Ты куда?

Заметив, что я растерялся, дядя, почтительно приподнявшись на седле, ответил за меня:

— Садыка послушать, Ака.

— Да... — протянул старик. — Хорошее слово услышать — это полсчастья!

Тут Аккулы заметил, что один из его молодых спутников, когда кони перепрыгивали через канаву, качнулся в седле. Аккулы с гневом обрушился на него:

— Ты что коня мучаешь? Это тебе не качели! Коня послал, а сам на месте остался! Ведь ты мог благородному животному хребет переломить!

— Он ведь нечаянно, Аккулы! — примирительно вмешался мой отец.

— Ах, оставь, Момыш! Оставь, ради аллаха! Ездок не только себе, но и коню случайности позволять не должен! — ответил Аккулы и еще раз гневно взглянул на покрасневшего до ушей юношу. — Какая нынче молодежь пошла, Момыш! Прямо — мешок да мешок, да еще какой мешок!.. Ах, как печально видеть под таким бедного коня.

Так почти до самого Бекета старик болтал, всякий раз подчеркивая свое превосходство над всеми в верховой езде. Все почтительно слушали его, старались ехать как можно ровнее, дабы не получить язвительных и колких замечаний.

У меня испортилось настроение еще в тот момент, когда мы выехали из дома: я злился на дядю, который не разрешил мне оседлать коня. И теперь, сидя сзади него на крупе лошади, я глядел на широкую спину дяди и презирал его, но речи строгого и придирчивого Аккулы примирили меня с моей несамостоятельностью.

Мы въехали в Бекет. Все пространство вокруг станции было окружено сотнями забутованных коней. Люди собрались у холма и, подстелив полы халатов под себя, рассаживались. Народу было много: седобородые старики, мужчины, джигиты, юноши, а в стороне скучилась группа женщин из ближних аулов.

Все в ожидании смотрели на здание станции.

— Идет! Идет! — раздался шепот в рядах.

В сопровождении почтового начальника в форменном картузе старого покроя и нескольких казахов из волостного управления шел мужчина среднего роста, в серой шинели нараспашку и без шапки. Я, как только его увидел, так же, как и другие, впился в него глазами. Он шел, спокойно переговариваясь с одним из сопровождавших. [132] Лицо у него было бледно-желтое, нездоровое, широкий лоб, лысеющая круглая голова, коротко подстриженные черные усы, усталые, с легкой припухлостью глаза.

Садык поднялся на холмик и за руку поздоровался со стариками, потом, приложив руки к груди, поклонился обществу.

— Привет вам приношу, общество, — сказал он гортанным голосом. — Как поживаете, почтенные аксакалы, как ваше здоровье? — обратился он к старикам.

— Благодарим тебя, Садык. Как ты сам поживаешь?

— Как твое здоровье, Садык?

— Как дети твои растут? — расспрашивали его старики.

— Спасибо, — показывая в улыбке белые зубы, отвечал Садык. — Пока здоров... Как ваш Кок-шолак, Ака? — обратился он к известному наезднику (по-видимому, Садык и раньше знал Аккулы).

— От твоих милиционеров прячу, — язвительно отвечал старик под общий хохот.

Садык Абланов улыбнулся.

— Пусть никто не тронет вашего Кок-шолака, Ака, Скажите, что я так велел, — спокойно ответил Садык.

— Благодарность тебе, Садык... А то от них и русским подводам и нашим коням — покоя нет... Все несутся, как угорелые, загонять только коней мастера...

— Садык сказал уже свое слово, — прервал Аккулы мой отец. — Дай теперь мы его послушаем.

Аккулы зло посмотрел на отца, но промолчал. Садык склонился, как бы извиняясь перед Аккулы, и поднялся на самую вершину холма. Оглядевшись вокруг, спокойно и уверенно начал:

— Почтенные аксакалы, если вы разрешите, я хочу сказать слово, — обратился он к старикам.

— Говори, Садык, говори! — хором ответили те.

— Почтенные аксакалы, сверстники мои, и вы, молодые джигиты, и вы, дорогие женщины, — обратился он тепло. — Именно в этот день, когда обновляется природа, тридцать три года тому назад рабочие и все, кто трудится, на весь мир объявили, что этот день навечно будет праздником труда, свободы, дружбы и братства людей...

Потом он очень просто и доходчиво рассказал о празднике трудового народа — Первое мая. Кратко, но [133] доступно обрисовал, что делается внутри страны и во всем мире и, почтительно называя имя Ленина, рассказал нам, почему Ленин — великий вождь для трудящихся всего мира. Он говорил о равенстве и братстве народов, о том, что несет революция трудовому казахскому народу... — Счастлив тот, кто свободен! Этого хотят большевики для всех наших народов! — так закончил он свою речь.

Все слушали его с огромным вниманием, не пропуская ни одного слова. После паузы раздались одобрительные возгласы:

— Правильно сказал Садык!

— Хорошее время выбрали для праздника!

— Умно решили!

Садык еще раз оглядел народ. Насколько мне помнится, он вместо слова «товарищи» говорил «родичи мои».

— Родичи мои! Я ваш! Я вам не враг, а родня и брат. Я один из тех казахов, которые вступили в партию коммунистов. Я, как вы, люблю свой народ и, как вы, желаю ему всяких благ. Хороший сын русского народа (а русский народ по численности намного больше нас, казахов, товарищ Ленин учит нас, большевиков, служить верно и честно своему народу. Товарищ Ленин провозгласил свободу, равенство, и дружбу между народами. Ни один человек не должен притеснять другого, никто не должен отбирать плоды трудов у других. Все люди должны трудиться так, чтобы в конце концов согнать с лица земли бедность, голод и страдания. Законы должны быть справедливыми. Вот почему я и мои товарищи пошли за Лениным, вступили в партию коммунистов... Все, о чем мы мечтаем и за, что боремся, сбудется в скором времени. Мы убеждены в том, что, если мы правильно поставим дело и народ пойдет за нами, — достигнем намеченной цели. Мы убеждены, что наше завтра будет лучше, чем сегодня. Если не мы, то во всяком случае наши дети будут жить лучше нас, а внуки еще лучше. Кто же, кроме злодея, может желать плохого детям и внукам своим?

Вы знаете нашу поговорку о том, что «под тенью раскидистого дерева, когда-то посаженного дедом, прохлаждаются внуки». Мы, большевики, хотим, чтобы народ хорошо трудился, чтобы плоды труда принесли ему [134] хорошую и счастливую жизнь... Надо сажать новое дерево, надо его выхаживать, как мать выхаживает младенца... Пусть наступит животворная весна и радостное лето и в жизни казахов!

Я к вам по важному делу приехал, но об этом после. А сегодня давайте праздновать Первое мая.

— Козла будем драть! — крикнул Аккулы.

— Кокпар! Кокпар! — загудела молодежь.

Садык широко улыбнулся и махнул рукой. Народ затих.

— Кокпар! — восторженно пронеслось по толпе. Присутствие Садыка призывало всех к вежливости.

Даже наши грубоватые милиционеры и надменно-язвительный «абсолютный чемпион по конному спорту» Аккулы, казалось, «на вершок присели» и старались быть вежливыми.

Кокпар был многолюдным и назывался «Май кокпары», то есть кокпар в честь майского праздника. Аккулы, как всегда, верховодил. Его присутствие держало игру в рамках строгих правил. Как вихрь, масса всадников носилась по ровному полю за тушею козла. Старики все, кроме Аккулы, разумеется, и в том числе мой отец, окружили Садыка и представляли из себя «судейскую коллегию» из зрителей.

Садык ехал на вороном карабаире и с веселой улыбкой наблюдал за ходом игры.

— Мы, большевики, хотим, чтобы у всех было весело на душе. Мы хотим, чтобы молодость наших юношей и девушек была счастливой и задорной. Наши враги клевещут на нас, что мы хотим отобрать счастье у людей, да и в наших рядах, к сожалению, попадаются невежды, которые на руку врагам портят колею своими кривыми колесами! Нет, мы хотим, чтобы все благородное и хорошее, что есть в народе, невиданно расцвело...

Садык говорил как бы между прочим, следя внимательно за игрой на зеленом поле. Теперь я сидел уже на крупе коня позади отца, так как дяде нужно было вдоволь побеситься на кокпаре. Приступ оскорбленного самолюбия не оставлял меня. Единственным утешением для меня было то, что я, как ни говорите, а нахожусь в обществе Садыка Абланова.

Вдруг как будто клинок рассек густую конную массу, и из гущи ее, как стрела, вырвался Аккулы, Мы не [135] успели оглянуться, как он осадил своего серого коня и, швырнув Садыку тушу козла, крикнул:

— На, Садык!

Затем, подняв на дыбы своего коня, он отскочил в сторону. Кок-шолак, пружиня на тонких ногах, заплясал на месте, удерживаемый короткими поводьями. Конная толпа рассеклась надвое о нашу группу, как волна рассекается об утес. Я казался себе таким ничтожным, обида точила мое сердце, хотелось сразу стать взрослым и поскакать со всеми.

— Вы, Ака, — душа кокпара, — говорил Садык старику Аккулы. — Я не хочу, чтобы наступил тот день, когда ваше искусство стало бы легендой для молодежи!

— Я пока не собираюсь в те края, — произнес обиженно Аккулы. — Нет, извольте не торопить меня, Садык!

Все засмеялись. Садык протянул Аккулы красный шелковый платок:

— Это вам, как лучшему джигиту! Первомайский приз!

Аккулы, взволнованный, приподнялся на стременах и принял подарок Садыка. Кок-шолак, как бы аплодируя своему седоку, стал ударять оземь копытом передней ноги.

— А теперь, Ака, побудьте со мной, — попросил Садык. — Пусть молодежь повеселится.

И Аккулы покорно до конца кокпара оставался в обществе Садыка.

Кокпар продолжался почти дотемна. Садык не отрывал глаз от носившихся по степи всадников. Казалось, он был увлечен кокпаром, но его спокойные и сдержанные слова говорили о том, что он вдумчиво искал ответа на тревожившие его вопросы о судьбе этой волнующейся в страстях кокпара конной толпы.

— Момеке, — обратился он к моему отцу. — Я хочу у вас найти покой на ночь.

— Я буду рад, если ты осчастливишь мой очаг своим приходом, Садык, — ответил отец. — Я приму это за честь, и ты найдешь покой под моим кровом.

Все с завистью посмотрели в нашу сторону, и я забыл, что сижу на крупе коня позади отца. Я гордился, что выбор Садыка пал на наш дом.

Отец знаком позвал дядю, и тот подлетел к нам в [136] бешеном галопе на взмыленном коне. Он резко осадил потемневшего от пота и пыли гнедого.

— Садык у нас будет гостем, — сказал отец своему брату.

При последнем слове отца дядя круто повернул коня и поскакал в направлении нашего аула. Кокпар закончился.

— Прошу вас отведать с Садыком соль и вкус ***(эквивалентно русскому «хлеб-соль»)*** у моего очага, — обратился отец к окружающим.

— Ну что вы, Момеке, много народу приглашаете, — сказал было Садык.

— Слава богу, и нас, бахтияровцев, немало, неподеленное у нас наследство, — перебил его отец.

Да, бахтияровцев было немало: три дома наших и дома двоюродных, троюродных, четыре дома назаров-цев, три дома тасырбаевцев, четыре дома ниязовцев, — всего четырнадцать юрт — очагов, с населением в семьдесят человек. Мы могли принять гостей и «дать пищу гостям» — двадцати всадникам, сопровождавшим Садыка Абланова.

Он ехал в середине строя, по бокам двумя шеренгами — сопровождавшие его казахи.

Огромный красный шар солнца скрывался за горбами гор Кулан-Тау. Степь постепенно покрывалась мягкой вуалью сумерок. Я, проведший целый день на крупе лошади, с трудом превозмогал усталость, и когда конь, держась в строю, трусил мелкой рысью, я испытывал боль во всем теле.

От очагов вокруг домов нашего аула в этот безветренный вечер поднимался серыми столбами дым. На загоне копошился вернувшийся с пастбищ скот. По полю несся вороной жеребец с развевающейся гривой, загонявший в табун непослушных кобылиц. От аула неслись запахи приготовляемой пищи: варили в жиру баурсаки, в котлах готовился бесбармак, дымились трубы самоваров.

Мужчины в почтительных позах стояли группами у наших юрт, поджидая гостей. Женщины суетливо мелькали между юртами.

Когда подъехали гости, люди нашего аула, как по [137] команде, бросились к ним навстречу и, подхватив под уздцы коней, помогли им сойти, поддерживая под руки. Когда же гости соскакивали со стремян, уводили коней. Усталые седоки, чуть покачиваясь, делали несколько медленных шагов, разминая ноги.

— Добро пожаловать, Садык, вот моя юрта! — указал отец на откинутый полог двери.

— Да будет благополучие в вашем гостеприимном доме, — Момеке, — ответил Садык на приглашение и предложил войти первыми в юрту старшим по возрасту, говоря каждому: «Дорога вам, аксакал!»

Так, пропустив перед собой пять-шесть аксакалов, Садык перешагнул и сам порог нашей юрты.

Соблюдение Садыком этих тонкостей степного этикета произвело на всех благоприятное впечатление и расположило к нему каждого, кто при этом присутствовал.

Остальных гостей развели по другим юртам. Разумеется, я вбежал в нашу юрту последним и с изумлением остановился: мне показалось, что я попал в другой дом — так изменилась обстановка нашей юрты. Дядя цыкнул на меня:

— Эй, Баурджан, ступай в большую юрту.

— Он ваш наследник, Момеке? — спросил у отца Садык и с улыбкой посмотрел на меня.

— Да, мой сын, Садык, — ответил отец.

— Пусть остается с нами, — мягко остановил дядю Садык. — Было бы невежливо с моей стороны отказать в нашем обществе молодому человеку в его собственном доме, тем более, что он провел почти целый день вместе со мной.

Так Садык оградил меня от дядиного преследования, Я получил возможность спокойно начать осмотр поразившей меня новой обстановки нашей юрты. На полу, буквой «П», от самого порога были разостланы ковры, на коврах — атласные одеяла, по ним были разбросаны большие подушки, на стене юрты блестела развешенная

посуда. В центре юрты была подвешена большая керосиновая лампа, которая ярко горела. По узорам я узнавал, какие вещи кому принадлежат.

Честолюбивый дядя мобилизовал напрокат все лучшее в нашем ауле и так украсил и обставил юрту, что наш дом производил впечатление самого богатого во всем округе. [136]

Гости расселись, подобрав под себя ноги.

Хвастливый дядя любовался созданным уютом и красотой и, поглядывая на своего брата, явно напрашивался на одобрение, как бы говоря: «Каково, а? Хорошо устроил?».

Дядя так расставил людей, что все шло как по расписанию: сначала разносили воду в кувшине, и гости мыли руки, потом была расстелена большая скатерть. Одни рассыпали баурсаки, другие принесли бурдюк с кумысом, третьи подавали пиалы, наполненные кумысом. Все исполняли свои обязанности, не мешая друг другу, и, сделав то, что от них требовалось, бесшумно уходили.

Ужин начался с утоления жажды. За прохладным кумысом шла беседа о майском кокпаре, своеобразном соревновании на ловкость в верховой езде. Садык Абланов с тактом и знанием дела вставлял свои замечания, предоставляя последнее слово «главному судье» — Аккулы. Старик был на седьмом небе и на этот раз мудро немногословен. Преклоняющийся перед Аккулы дядя невпопад пытался высказаться, но заметив обращенный к нему укоризненный взгляд старшего брата, поспешно вышел из юрты. Он вернулся через полчаса и, держа между ногами блеющего белого барана с черной головой, молитвенно протянул руки вверх в позе просителя «баты» — благословения.

— Аумиин? — произнес он.

Все с нескрываемой тревогой посмотрели в сторону большевика Садыка, так как «баты» было связано с религией и, как все старое, запрещалось другими ранее гостившими представителями власти.

Садык, поняв этот безмолвный вопрос, мягко улыбнулся в свои короткие черные усы и протянул молитвенно руки.

— Ака, ваша дорога старше моей, доставьте нам удовольствие услышать ваше благословение гостеприимному дому.

Аккулы, озадаченный, на миг задумался, но не растерялся, поднял молитвенно руки и начал нараспев:

— О, создатель! Я к тебе обращаюсь первому. Пусть вечно сияет солнце над нашей землей, как тебе это было угодно в этот день! Пусть народы процветают в счастье под этим солнцем и радуются жизни! Пусть [139] юность ликует и резвится, и пусть старость пройдет в покое и довольствии, окруженная красотою жизни! Пусть будут равны перед тобою, как говорил сегодня Садык (при этих словах Садык смущенно глядел вниз), дети разных племен и народов из рода человеческого. Всели в их сердца доброту и братскую любовь друг к другу! Изничтожь бесов, сеющих дух вражды между людьми и народами! Наполни нашу степь сочными травами и жирными стадами! Дай нам богатый урожай!) «Озелени подолы наших жен» и наполни юрты наш» шаловливыми детьми! Одари наших джигитов крылатыми скакунами!..

Под конец старик, чуть смутившись, остановился, видимо не зная, как завершить свое благословение.

Все рассмеялись, ибо он запнулся именно на скакунах. Тогда Аккулы рявкнул: «Во имя бога!» И барана увели.

Все знали, что Аккулы никогда не отправлял религиозных обрядов, и поэтому его «благословение» не было похоже на обычное.

Садык, желая подбодрить смущенного Аккулы, не успев погасить улыбки в углах губ, произнес:

— Хорошо сказали вы, Ака, самые лучшие пожелания, и мы, коммунисты, народу желаем то же самое, что сказано вами.

— А мы не подозревали, Аккулы, за тобой такого поэтического таланта, — пошутил кто-то.

— Дух песни живет на седле, а не прячется в юбках, — отпарировал Аккулы, намекая, что пошутивший был известным бабником.

Все засмеялись.

— Но наш Ака мыслит не только как поэт, он у нас и политик, — сказал Садык и, как бы между прочим, добавил: — А ведь наша политика — это и есть сокровенные пожелания народа — братство и дружба между людьми при взаимном уважении друг друга. Вот, к примеру, взять русских. Простой мужик от зари до самой темноты трудится в поле, или возьмем рабочего, руками которого построена в нашем крае железная дорога. Они такие же люди, как и мы: на них никто не работает; свой хлеб и похлебку они зарабатывают своими руками. [140]

— Твоя правда, Садык, русские любят и умеют работать...

— Дай же Садыку речь кончить.

— Русские — народ хороший, и если кто из них притеснял казахов, так это были царские чиновники. Теперь совсем другое стало: сами русские свалили с трона ненавистного царя.

— Значит, Ленин, выходит, правильный, прямой человек.

— Да, — сказал Садык, — наш Ленин — очень правильный человек...

— Что, он, Ленин, теперь самого царя заменяет? Раньше был Николай, а теперь Ленин, да? — спросил кто-то, на что Садык, улыбнувшись, ответил:

— Да, теперь Ленин, но не царь, а вождь, он самый умный человек из всех правильных людей.

— Скажи, пожалуйста, Садык, вот твой брат Изба-сар, как приезжает, начинает с того, что «аллаха нет», «вы — темнота», «вы ничего не понимаете», и когда кто-нибудь, у кого он остановился, по нашему обычаю, приводит барана и просит у него благословения, он махнет рукой и со злобой скажет: «Эх, темнота, уведите барана и режьте»... Царь царем, их много было, трон троном, а при чем же тут аллах — ведь он один. Зачем портить веру? Зачем портить обычай?

— Ты что развел здесь всякие неуместности? Изба-сар же родной брат Садыку, — прикрикнул Аккулы на вольнодумца.

Садык, широко улыбаясь, поднял правую руку, как бы оберегая говорившего от гнева Аккулы.

— Что вы, что вы, Ака! Зачем вы перебиваете правильную речь?

— А вот Ленин верует или не верует? — закончил свою речь вольнодумец.

— Я сам не встречался с Лениным, но те, кто знают его лучше меня, все говорят, что Ленин очень прямой и честный человек. Не знаю, верует ли он в бога, но он, как говорят все, очень верит в народ. Думаю, что поэтому за ним и пошли все. — Садык слегка улыбнулся и добавил: — В отношении брата я слов не имею, он мне приходится старшим. Но вы знаете, что Изба-сара осудили товарищи и сняли с работы...

Неловкую паузу нарушил Аккулы: [141]

— Ай да молодец! Хорошо и правильно говоришь ты, Садык. Раз Ленин верует в народ — это самое главное.

— Раз Ленин в народ верит, то и народ его не подвел, — вставил вольнодумец.

Им был тот самый наш аульный шутник и остряк Токмырза, веселый старик, постоянный тамада на вечеринках, однолошадный бедняк…

— Вы правильно говорите, Тока, вот я и приехал к вам, чтобы посоветоваться с вами, что и как делать, как нам следует жизнь направлять.

— Говори, Садык.

— Не знаю, годимся ли мы тебе в советники...

— Годитесь, я думаю, очень годитесь. Мы сегодня неплохо отпраздновали Первое мая — драли кокпар по вашему совету.

— Славный был праздник, Садык, — прервал его Аккулы, — теперь каждый год будем праздновать Первое мая!

— Ты что, Аккулы, каждый год хочешь получать майский приз? — пошутил Токмырза.

— Нет, я не такой жадный, как ты, — и, вынимая из-за пазухи красный шелковый платок, подаренный Садыком, Аккулы сказал: — Я буду беречь этот платок и в день Первого мая следующего года подарю его лучшему джигиту. Думаю, что ты к этому времени научишь своего сына не набивать спины коню, — отбрил он Токмырзу.

— Да что же вы сбиваете беседу с правильного пути! Дайте Садыку досказать свои слова. Он же у нас хотел совета просить, — вмешался отец.

— Да, я у вас, почтенные аксакалы, хочу совета просить... У вас за плечами много лет жизни, хочу, чтобы вы помогли мне лучше объяснить нашему народу новые порядки.

— А твои милиционеры почему зря губят лошадей? — вспыхнул Аккулы. — Несутся, как бешеные, хлещут бедное животное плетками. Если уж на твоего коня сел милиционер, не жди ничего доброго. Он обязательно должен только галопом скакать.

— Ну, Аккулы, тебе же насчет коней Садык еще днем ответ дал.

— Ты меня, Момыш, не учи когда что говорить... Я бы на месте Садыка давным-давно повесил бы этих шалопаев… [142]

Под общий смех Садык спокойно ответил Аккулы. — Я, Ака, милиционеров вешать, конечно, не буду, потому что советская власть и Ленин не разрешают этого делать. Но тех из них, кто дебоширит, видимо, придется отстранить от службы.

— Да, да, Садык, — взволновался Аккулы, — обязательно сними их с коня и вели им всю жизнь пешком ходить.

— Так и сделаю, Ака, — улыбаясь, ответил Садык. — Ака и все говорили правильно, хорошие мне советы дали. Первое: решено в дальнейшем праздновать день Первого мая как день весны и радости. Второе: раз наши милиционеры обижают народ, значит, надо их обуздать. Спасибо вам, почтенные аксакалы, что вы сегодня своими советами помогли мне правильно решить два вопроса...

— Говори, Садык, говори, — вырвалось у сконфуженного гордого Аккулы, — прости меня, старого болтуна, и нас всех, кто задерживал в твоих устах хорошие слова.

— Есть еще два вопроса, — медленно произнес Садык. — Два вопроса есть, которые мне без вашего совета решить трудно...

— Говори, Садык...

— Я моложе всех вас, почтенные аксакалы, и я вам не старшим братом прихожусь, а всего лишь младшим. Надо с русскими людьми уладить наши отношения. До сих пор некоторые из наших горячих людей по старинке недолюбливают русских. Как ни базар, так и драку затевают...

— Что, Садык, теперь и в новое время поклон за поклоном прикажешь? Снова казацкую нагайку по моей спине разрешишь?.. — задыхался Аккулы. — Нет, уволь, раз твой Ленин сказал: «Все люди равны», — я твоим русским шалопаям спуску не дам! Коль он не уважает мою седую бороду, ты, Садык, не держи мою плетку...

— А ты, Аккулы, сам старый казахский шалопай... — начал было отец.

— Ты в своем доме мне не учитель! Ты хочешь, чтобы я ушел... — крикнул отцу Аккулы.

— Ака, Ака! — умоляюще обратился Садык. — Если можете, уважьте мою просьбу. Раз мы хотим говорить серьезно, зачем же резкость и горячность?

— Аккулы, извини меня, я неуместное слово бросил. Давай послушаем Садыка, — сказал отец. [143]

— То-то, — пробурчал Аккулы, — а ты, Момыш, не щекочи меня под ребром.

— Вот как бы нам по-хорошему, по-братски уладить все дела с простым русским человеком? Ведь, Ака, как мне передали, Тимофей Водопьянов ваш друг? Разве это неправда?

— Тимошка? Он прямой и хороший человек, а вот его родня Иван — плохой человек.

— А мы с Кузьмой Гончаровым вместе землю пашем, сено вместе косим, другу к другу в гости ездим, — вставил отец, — мой брат у Гончаровых научился многому...

— Жагор меня спас в голодные годы, — сказал Токмырза...

— А мой Метрей хату мне построил...

Садык улыбался и слушал терпеливо высказывания по адресу русских.

— Тимошка, Кузьма, Жагор, Метрей и другие, по вашим же словам, хорошие люди, а вот родня Тимошки Иван — плохой человек, — расхохотался Садык и, обращаясь к Аккулы, спросил:

— А сколько же у русских хороших людей и сколько плохих?

— Выходит, хороших больше, чем плохих. Да ну его, этого Ивана! — пробурчал Аккулы.

— А сколько у нас «казахских Иванов»?

— Что и говорить, — вмешался Токмырза, — и у нас всякой шантрапы хватает.

— Подумайте, — сказал Садык, — рассудите и дайте мне совет, как уладить взаимоотношения между русскими и казахами... Второй вопрос, по которому я хотел бы с вами посоветоваться, — это земля. Земли у нас много, а порядка в пользовании ею нет. Ленин сказал, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. А как у нас? У одних больше, чем надо, а у других и клочка нет. Разве это справедливо? Вот я и хотел бы от вас услышать мудрые советы, почтенные аксакалы. И по этому вопросу я вас прошу подумать и через два-три дня дать мне совет от имени общества.

— Твоя правда, Садык, твоя правда, — загудели в юрте, — дай нам время посоветоваться, а потом сказать свое слово...

Далее Садык непринужденно и весело рассказал, как он сидел в тюрьме, отбывал ссылку в Сибири, рассказал о восстании казахов в 1916 году, тепло говорил о своих русских товарищах.

Я, примостившись около отца, слушал его, затаив дыхание, но мой детский ум не все воспринимал.

Приемы и проводы Садыка в нашем доме помнятся мне до сих пор: они были самыми интересными и многолюдными.

Дядя в этот вечер показал себя как энергичный и умелый организатор, и с тех пор бразды правления домом перешли в его руки.

Весь вечер и всю ночь так же стихийно, как кокпар после митинга, возникали айтысы в честь Первого мая. Садык и Аккулы впервые в нашей волости превратили май во всенародный праздник, а в последующие годы это уже стало традицией.

* * *

Собственническое отношение к земле обострилось у казахов с появлением в наших краях русских переселенцев, за которыми царское правительство закрепляло лучшие угодья, отбирая их у казахов.

Была установлена межа. Русские крестьяне страдали от табунов и отар, что бродили по степи без присмотра. Тогда русские, чтобы приучить казахов следить за своим скотом, поставили на своих землях объездчиков. Объездчики угоняли скот, который переходил межу, и возвращали его только после уплаты штрафа натурой, Размер штрафа устанавливали русские.

Казахи недоумевали:

«Божья земля, божья трава, божий скот?»

Русские недоумевали в свою очередь:

«Моя земля, мои травы, мой посев! Как казахи не понимают, что это мое!»

Русские объездчики стали злоупотреблять доверием общества и довольно часто угоняли скот, даже не побывавший на крестьянских угодьях. Несправедливость эта возмущала казахов, они устраивали погони, отбивали свой скот силой.

Тогда объездчики вооружились дробовиками. Взаимные столкновения обострились. Часто споры кончались дракой, бывали даже убийства. Казах в каждом русском начал видеть своего притеснителя, прогнавшего его с исконной [145] отцовской земли. Русские переселенцы в лице казахов видели обидчиков, которые своими бесчисленными стадами травили посевы, уничтожали плоды их тяжелого труда. Интересы обеих сторон страдали, и обе стороны были по-своему правы.

Так земля стала причиной раздора между русскими и казахами.

На стороне русских была колониальная политика царизма, и это довлело над всем. На новой земле в деревнях переселенцев кулаки росли, как грибы, они, как голодные волки, набрасывались на «свободные» земли. Земельные уделы казахов все более ограничивались. Тогда, чтобы земля не оставалась «свободной», небогатые казахи начали оседать. По примеру русских, они стали обрабатывать земли и косить травы на корм для скота. Так казах постепенно стал привязывать себя к земле, зараженный стихией собственничества: «Моя земля, мой сенокос, мои посевы!»

Я родился, когда у казахов утвердилось это слово «мое», выражавшее новое отношение к земле. Земля давала зерно и фрукты, которые можно было не только есть, но и продавать за деньги. Деньги стали волшебной силой, на них можно было купить все.

Казахи робко попытались эксплуатировать землю. Появились покупатели и арендаторы. Возникли спрос на землю и продажа ее. Правда, на пастбища частная собственность не распространялась у казахов до самых последних дней. Объектом купли и продажи были пахотноспособные земли и сенокосы. Но казах еще долгое время не мог привыкнуть к этому и считал зазорным продавать земли и травы, и многие их просто уступали безвозмездно тем, кто нуждался в пашне и лугах. Время, однако, брало свое, и постепенно возник своеобразный «мандат» — «Ата коныс жерим» («Становище моих предков»), ставший основой права собственности на земли. «Стан моих предков» длинной полосой тянулся по маршруту, некогда бывшему путем кочевий предков.

Итак, собственность на землю у казахов возникла сначала как общинно-родовая, а потом постепенно становилась подродовой и, наконец, частной. Появились земельные банки, выдававшие ссуды под это недвижимое имущество.

Позже борьба за землю и владение ею велась уже не [146] только с русскими, но и между казахами. Земельно-водные конфликты все разрастались и тянулись вплоть до коллективизации. К началу революции и среди казахских дехкан уже имелись безземельные и малоземельные, распродавшие за гроши когда-то полученные ими наделы из «становища предков», и богатые землевладельцы, прибравшие к рукам земельные наделы бедняков.

Наша семья владела пятьюдесятью десятинами пахотной земли из «становища предков». Отец из-за суеверия бабушки и своего собственного не разрешал себе ни купли, ни продажи. Легкомысленный же дядя однажды, еще

при жизни бабушки, в один из трудных годов предложил продать часть земли, за что бабушка гневно прикрикнула на него:

— В тебе, видно, злой дух сидит, щенок! От меня трое сыновей, от вас будет по трое, от них если будет по трое, куда тогда прикажешь правнукам моим деваться?! Ты первый из нашего поколения заикнулся о продаже божьей земли, типун тебе на язык!

После этой сцены я не слыхал в нашей семье ни одного слова о продаже или сдаче в аренду земли, и это завещание бабушки не нарушалось вплоть до земельной реформы.

На собрание по вопросу о земле, которое проводил Садык, дядя меня не пустил: «Иди, играй с детьми да присматривай за ягнятами, как другие мальчишки!» На мой жалобный взгляд отец отвернулся и тем самым подтвердил приказ дяди.

Земельная реформа или, как ее называли казахи, «жер белу» — раздел земли продолжалась в течение всей первой половины мая 1921 года. Это было второе крупное политическое мероприятие Советов после введения новой избирательной системы. Во все стороны, из аула в аул, с собрания на собрание то и дело носились верховые. Борьба развертывалась вокруг «Ата коныс» («Становища предков») сначала между родами, потом между подродами, далее она перерастала в борьбу между отдельными семьями, у которых был общий дед или прадед. Разгоралось страстное пламя родовой распри из-за «божьей» земли.

Садык лавировал между этими волнами средневековья, что гнали друг друга и рождались одна от другой. Быть может, ему и приходилось хлебнуть «соленой [147] воды», но он был утесом на новом берегу, к которому, обгоняя друг друга, неслись волны, разбивались о него, и, падая к подножию, пытались снова биться, но они уже были пенистые и слабые.

Садык, как человек большого такта, настойчиво проводя свою линию, давал казахам возможность успокоиться самим от разыгравшейся в них родовой вражды. Он терпеливо ждал, когда уставшие в этой борьбе люди сами обратятся к нему, чтобы заговорило слово закона. Он ждал, когда они сами с радостью начнут делать то, против чего так бурно протестовали и чему сопротивлялись.

«Золото — на дне терпения», «Терпеливый дойдет до цели, а поспешивший лишь пожнет стыд».

Да, Садык не торопился, не перегибал. Советом и терпением он уничтожал пережитки, которые плавно сгибались перед законом. Он терпеливо ждал момента, когда его «так надо» не будет раздражать, и народ сам скажет: «Так этому и быть!»

* * *

Однажды дядя вернулся к обеду с зимовки, куда он ездил выполнять какие-то хозяйственные работы, и лег отдыхать. Мне он велел чисто подмести наш загон, и я выполнял его поручение со всей тщательностью. Напевая какую-то песенку себе под нос, я так увлекся своим занятием, что опомнился только тогда, когда толпа во главе с Аккулы, вооруженная палками, была недалеко.

— Эй! Подлый кобель, Момынкул, выходи на суд праведный! — крикнул Аккулы.

Свирепый голос Аккулы и сопровождавшая его возбужденная толпа так напугали меня, что я стремглав бросился в юрту, где спал дядя, и с дрожью в голосе стал будить его.

— Дядя! Дядя! Аккулы пришел тебя побить! Спросонья дядя ничего не понял. Он вскочил и пробормотал:

— А?.. Что ты глупости несешь? В это время донеслись голоса:

— Ага! Ты трусишь, заячья душонка! Выходи, говорят тебе, живо!

— Не прикрывайся под родным шанраком!

— А ну, выходи! [148]

— Мы размозжим твою дурную башку!

По нашим обычаям, в юрте не принято было драться, поэтому группа Аккулы стояла в двадцати шагах от юрты, выкрикивая свои угрозы и занимая позицию для боя.

По этим же неписаным законам, преследуемый мог всегда найти убежище в любой юрте, куда ему удавалось укрыться от своего преследователя. Ворваться в юрту считалось оскорблением чести очага, где варится «неподеленный удел» наших общих предков. Если преследователь не унимался, то его упрекали в неуважении к крову, под которым проживали сородичи его же предков. «Даже воробей находит убежище под кустом. А что для тебя моя юрта? Она ничто по сравнению с кустом?» — говорили преследователю, требовавшему выдачи его врага.

— Трус! Трус! Трус! — кричал старший сын Аккулы широколицый, большеротый Жаксыбай, с искаженным от гнева лицом, напоминавшим маску безобразных буддийских божков.

Я помню, как его слова задели меня за живое, и, преодолевая страх, я выбежал из юрты и крикнул толпе:

— Он не трус! Он спал, сейчас оденется и выйдет!

— Ах, мелочь, марш свои шары катать! — прикрикнул на меня Жаксыбай.

Испугавшись его страшного вида, я шмыгнул в юрту. Дядя поспешно одевался, то и дело откликаясь на брань:

— Сейчас! Сейчас я выйду, чтобы наполнить кровью твой поганый рот!

Быстро оглядев юрту и не найдя ничего подходящего для боя, дядя с голыми руками выбежал наружу, крикнув противникам:

— Вот и я!

В то же мгновение аккуловцы набросились на него с палками, посыпались удары, послышались крики.

Аккулы, как полководец, стоял в стороне, наблюдая за избиением моего дяди и размахивая палкой.

Дядя, прикрыв голову руками, отбивался ногами, нанося удары. Меня трясло, как в лихорадке, от бессильной злости и жалости к дяде. Меня душил гнев возмущения этим неравным боем.

Наши женщины закричали, но их возгласы и плач потонули в крике дерущихся. [149]

Вдруг дядя вырвал у одного из нападающих палку и прорвался сквозь кольцо окружения. Отбежав в сторону, он круто повернулся и с разбегу, как коршун, напал на аккуловцев. Он так сноровисто и ловко работал палкой, что она мелькала, как у жонглера. Он выбивал оружие из рук противника и, обезоружив троих, начал яростно молотить поодиночке остальных. Последним был свален крепким ударом Жаксыбай.

Я злорадствовал, я упивался поражением аккуловцев.

«Старый полководец», увидев, как его сын растянулся на земле, сам бросился на моего дядю. Дядя отбросил в сторону свою палку и встал против подбежавшего старика, расставив ноги и заложив руки назад. Аккулы с размаху ударил дядю палкой по голове. Из рассеченного лба хлынула кровь и залила все лицо Момынкула. Аккулы размахнулся палкой еще раз, но затем опустил ее и, закрыв лицо руками, отвернулся и пошел согбенный в направлении своего аула, ни разу не оглянувшись на нас. Битые его «воины» один за другим поплелись за ним.

Дядя с окровавленным лицом подошел к очагу, отрезал кусок кошмы, подпалил ее и начал прикладывать дымящуюся, с едким запахом, шерсть к своей ране.

Вечером приехал отец. Мы наперебой начали рассказывать ему о «сражении», которое разыгралось возле нашей юрты. Дядя долго убеждал отца, что он ничего не знает о причине такого нашествия. Отец только укоризненно покачивал головой....

Выяснилось, что причиной послужила улика: в одной из многих лощин на сенокосном угодье была злосчастная яма с густой и высокой травой. В глухом месте трава была повалена и прибита к земле — там кто-то лежал. Один из проезжающих мимо заметил это и вспомнил; что когда он подъезжал, то видел издали, как мой дядя проходил через эту балку, а спустя некоторое время оттуда вышла женщина — жена Жаксыбая. Этот человек сделал неопровержимый вывод, что помятая трава могла быть только следом прелюбодеяния моего дяди и жены Жаксыбая. Он счел своим долгом немедленно оповестить всех о своих подозрениях.

После происшедшего сражения между двумя соседними аулами началась «холодная война!» Общение было прервано. Так продолжалось целую неделю.

Избитая мужем бедная женщина нашла приют в юрте [150] своей подруги, и последняя, пользуясь правом «святости» шанрака, не выдавала ее мужу, который жаждал мести.

Аккулы прислал к моему отцу человека с просьбой разрешить конфликт, оформить развод его сына со снохой и привлечь виновных к ответу, как нарушивших святость и неприкосновенность брака. Отец ответил, что ему ничего неизвестно о вине брата и этой женщины. Так как истцом был Аккулы и именно он на старости лет заварил эту кашу, то за ним остается право приглашать судей для разбора дела. Что же касается его самого, то он явится на суд как ответчик, по вызову. Суд состоялся через две недели после происшествия. По обычаю, судьи были старейшими из нейтрального подрода, имеющими одинаковое родственное отношение к сторонам. Председательствовал старший из них — Жаримбет. Высокий и тучный, он смотрел на всех исподлобья и был очень мрачен.

Группа истцов — ближайшие родичи Аккулы — сидела с правой стороны, а ответчики — с левой. Как полагалось, женщины в судебное присутствие при таких важных делах не допускались.

— Много бывает печальных историй и горя в жизни человека, — начал Жаримбет. — Человек греховен, но каждый, совершивший грех по своей молодости, должен раскаяться и своим искренним признанием смыть горечь вражды, что возникла между родней... Вы, — обратился он к сторонам, — дети одного отца и матери, люди очень близкие... На мою долю выпала тяжелая обязанность — примирить вас, братьев, по столь непозволительному для родни спору. Говорите правду, помогите мне найти правильное для вас слово. Первым говори ты, Аккулы.

Аккулы насупился и, ткнув концом камчи в землю, начал:

— Что же тут говорить, Жареке? Дело известное, оно черным позором лежит на мне, и я не могу поднять глаз и открыто посмотреть на свет! — Внезапно Аккулы вспыхнул и, размахивая плетью, стал выкрикивать: — Этот нечистый кобель осквернил честь моей семьи, честь моего рода. Словно дегтем поганым загрязнил мою седую бороду!..

— Если ты, Аккулы, намерен браниться, — строго прервал его Жаримбет, — или снова, на моих глазах, затеять [151] драку, то попроси лучше нас удалиться из твоего аула! Аккулы смутился. Жаримбет посмотрел на него и уже более мягко, сочувственным тоном добавил:

— Подумай, Аккулы! Ты сам, слава богу, покрылся серебром седины, имей же уважение и к нашим белым бородам.

Аккулы молчал.

— Говори, Момыш, — обратился Жаримбет к моему отцу.

— Я, Жареке, сожалею, что не могу вам рассказать все обстоятельства этого дела, ибо все совершилось в мое отсутствие. Поэтому пусть мой брат отвечает за себя, он для этого уже достаточно взрослый.

— Говори, Момынкул, — обратился Жаримбет к дяде.

Дядя не растерялся и, встав в почтительной позе, начал:

— Жареке! Я не смею судиться с Аккулы, он мне — старший брат и мой учитель. Только могу сказать вам, что этот печальный случай является просто недоразумением, рожденным злым языком: я и эта бедная женщина — совершенно невинны, и подозрение на нас — сущая несправедливость.

— Я презираю тебя, щенок! — крикнул Аккулы.

Жаримбет строго посмотрел на него и сказал:

— Может быть, ты сядешь на мое место, Аккулы?

Аккулы снова умолк. Воспользовавшись этим, дядя продолжал:

— Я вас любил и люблю больше родного брата, Ака, — сказал дядя, поправляя на лбу повязку. — Вы, конечно, можете думать обо мне что угодно, но я уверен, что злые люди ввели вас в заблуждение. Моя совесть перед вами чиста. С вами я не дрался и не в обиде на вас за то, что вы мне тогда рассекли лоб... от остальных я только защищался...

— Я тебя не обвиняю, что ты побил всех этих. — Аккулы с презрением посмотрел на своих подручных. — Всех этих! — Он запнулся и впился взглядом, полным ненависти, в своих помощников. — Гнилье! Гнилье! — крикнул он в бешенстве.

Дядя, отвечая на вопросы Жаримбета, с тем же спокойствием рассказал со всеми подробностями, как произошло «сражение», Жаримбет, внимательно выслушав [152] его, нахмурился, сдвинув седые брови. Потом он бросил злой взгляд на Аккулы и наконец сказал:

— Почему ты, Аккулы, разрешил себе напасть на безоружного?! Десятку — на одного человека? Это твоя первая вина! Почему ты, Аккулы, сам напал и нанес удар человеку, который из уважения к твоему возрасту отказался поднять на тебя руку и бросил свою палку? Это твоя вторая вина!

Аккулы молчал, низко опустив голову.

Вдруг из крайней юрты показалась стройная женщина в праздничной одежде. К удивлению всех, она направилась к запрещенному для женщины месту суда. Аккулы узнал в ней свою сноху и замахал руками в растерянности, умоляющим голосом упрашивая:

— Назад! Назад, дитя мое! Назад, дитя мое!

Да, в его голосе скорее звучала просьба, чем приказ, но женщина с гордо поднятой головой продолжала идти решительным шагом.

Подойдя ближе, она отвесила низкие поклоны старикам, с презрением посмотрела на мужа, который сидел возле своего отца, и, бледная, с блестящими от гнева глазами, начала:

— Светлый отец! — обратилась она к Жаримбету. Ее движения и голос были до того решительны, что никто от изумления не мог перебить ее. — Я тоже дитя своих родителей! Не моя вина, что я родилась женщиной, но я не стыжусь, что я женщина. Вы — отец своих детей. Разве вы меньше любите свою дочь, чем сына? Разве для вашего родительского сердца и чувства не все ваши дети были равными?! Разве ваши снохи не приносят вам счастья, рожая вам внуков?! Я пришла сюда, как ваше дитя. Надеюсь, что мой приход не оскорбит вас, аксакал. Да, я слабая и беспомощная женщина. Я одна, и некому заступиться за меня. Вот почему любому мужчине легко побить меня. Не трудно вам прогнать меня отсюда. Но найдете ли вы в себе силы выслушать меня?

Все эти слова она говорила четко и раздельно, еле сдерживая гнев, голосом, каким может говорить только правый человек. Вид у нее был торжественный, она была вся подтянута и собрана, она вся была олицетворением протеста. В ее одежде ничего не было лишнего, даже глупые безделушки и украшения не привлекали и не манили мужских глаз. Все превратилось в ее оружие. [153] Бледное как полотно лицо с мраморно-синеватым оттенком под глазами выражало волю и решительность. Жаримбет, как и все собрание, был загипнотизирован этой смелой женщиной. Он смотрел ей прямо в глаза, но она не отводила их, блестевших от гнева и возмущения.

— Говори, дитя мое, говори! — сказал Жаримбет в растерянности, поглаживая обеими руками бороду.

— Я пришла, — сказала Зейнеп голосом, полным достоинства. — Я пришла не судиться. Если в этом будет необходимость и истцы доведут дело до этого, то на это есть другой суд, суд власти, советский суд, где я по новому закону, как равная с мужчинами, смогу защитить свои права. Я пришла, чтобы объявить перед вами моему мужу свое решение. По его стараниям, наши с ним отношения стали гласными для всех. Я оскорблена

незаслуженно. Власть мне дала право на полную свободу, и я решила воспользоваться этим, предоставленным мне законом правом: я решила уйти от своего мужа.

Вздох пронесся после ее слов по рядам сидевших.

— Я пришла поблагодарить вас и проститься с вами, ата! — обратилась она к Аккулы.

— Что вы, что вы, дитя! — голос Аккулы задрожал, но Зейнеп не слышала его слов, она обратилась к Жаримбету:

— Не можете ли вы, ата, велеть кому-нибудь проводить меня до моего аула, где я родилась? — Затем она, посмотрев в упор на мужа, бросила ему: — А к вам в дом я живой никогда не войду!

Еще раз извинившись перед стариками, она ушла в юрту, провожаемая изумленными взглядами присутствующих.

Все долго молчали. Жаримбет в затруднении перебирал пальцами. Наконец он промолвил:

— Бедное дитя, как она оскорблена! — Потом он приказал отвести ее в аул. — Пусть она там немного поживет, успокоится, одумается! Я под старость лет не могу отказать в просьбе беспомощной женщине.

Возвращаясь домой, каждый из нас по-своему переживал выступление Зейнеп... Вдруг мне показалось, что за моей спиной раздался голос бабушки: «Хоть ты и дурак, но вел себя сегодня, как умный!».

Я оглянулся, думая, что увижу мою бабушку, и был очень удивлен: эти слова говорил мой отец своему брату, шедшему с ним рядом.

Дело Зейнеп тянулось более года. Шли бесконечные переговоры, но она была неумолима и настояла на своем, прекратив тяжбу тем, что вскоре вышла замуж по своему выбору и без калыма. Аккулы же до конца своей жизни переживал уход Зейнеп.

История с Зейнеп была самой нашумевшей в нашем округе. Когда Аккулы по этому вопросу обратился к Садыку Абланову, тот вежливо выпроводил его из своего кабинета, выразив соболезнование и сожаление, что он ничем помочь ему не может, и отослал его к самой Зейнеп — первой женщине в нашем округе, отстоявшей свои права по новому закону, воспользовавшейся равноправием, предоставленным ей советским законом.

Гончаровы работали с нами на сенокосе.

В назначенный день они приезжали на двух бричках — с косами, вилами, молотками, брусками и прочими инструментами, необходимыми для сенокоса. Вся семья Гончаровых ходила босиком, только старик был в сапогах, отравляя воздух запахом дегтя. Его сыновья носили короткие холщовые рубахи без пояса. Босоногие женщины были повязаны белыми платками. В широких холщовых рубахах возились они со своими походно-кухонными погремушками и налаживали ручные деревянные грабли. Их волосы выгорели на солнце, и мне казалось, что это не женские волосы, а пучки конопли. Наши женщины с брезгливостью смотрели на голые ноги Гончарих и между собой шептали, осуждая их: «Да быть тебе в темнице, неверная!», «Как ей не стыдно голоногой ходить! Тьфу, бесстыжая!»

... По приезде Гончаровы отказались от угощения: торопили наших поскорее ехать на сенокос.

— Работать надо, Момыш, — говорил старик Гончаров, — бесбармак поесть успеем!

До сенокоса было недалеко — всего километра три. Отец и дядя поехали верхом, а я попросился к Гончаровым, в их огромную арбу. Я впервые ехал на арбе и поэтому не без волнения уселся сзади. Когда арба тронулась с места и затарахтела по дороге, я вцепился в [155] край ящика. Заметив мой страх, женщины засмеялись и начали меня успокаивать. Василий, чтобы подбодрить меня и одновременно похвастаться, стал ходить взад и вперед по арбе, как бы говоря мне: «Смотри, смотри, какой я молодец!» Но тут Тишко гикнул на своих гнедых, и лошади прибавили шагу. Я еще крепче уцепился за край ящика.

— Тишко, ты что! — крикнула Манька. — Погоняй тихонько, а то у киргизенка глаз лопне!

Тишко обернулся в мою сторону и, засмеявшись, натянул вожжи. Кони остановились, а я, как угорелый, выскочил из арбы и побежал прочь. Василий догнал меня, схватил за руку и, уговаривая, потащил к арбе. Я упирался...

— Василь! — крикнула ему Манька. — Да брось ты этого чертенка, поехали!

Василий, разозлившись, ударил меня по лицу и побежал к своим. Я бросился за ним, догнал его и вцепился в рубашку... Мы дрались отчаянно. Подошел Тишко, дал нам по тумаку и, разняв нас, увел своего брата к повозке.

Я стал вслед им кидать камни. Один из них угодил в Маньку. Та завизжала, в мою сторону посыпалось вроде: «Киргизенок! Чертяка! Сатана!» Я тут же запомнил ее слова и в ответ начал чертыхаться. По-видимому, я до того искажал русскую ругань, что все не могли удержаться от смеха. На этом состоялось примирение. Тишко подтолкнул меня к Василию, а потом посадил рядом с собой.

Луг наш большой и ровный. Гончаровы распрягли лошадей и тут же взялись за косы. Старик пригласил к себе моего отца и, усевшись на землю, стал показывать, как надо отбивать косу, а Мефодий учил дядю точить косу бруском и подгонять по росту рукоятку. Вскоре все косы были отбиты и отточены.

Старик Кузьма взялся за косу, примерился, взмахнул ею по воздуху, постучал молотком, что-то подправляя, и пошел косить. Широко расставив ноги, он высоко взмахнул косой и опустил ее, чуть сгибая корпус. Коса змеей спряталась в густую траву, раздался как бы скрежет, и, слегка колыхнувшись, трава повалилась волной к ногам Кузьмы. С каждым взмахом косы старик медленно продвигался вперед. Пройдя шагов десять, он остановился и крикнул старшему сыну: [156]

— Сашко! Що ты косу посадив недобре и рукоятку трохи сдвинул, аж можно хребет поломать!

Сашко подбежал к отцу с молотком и начал налаживать косу, приговаривая:

— Сейчас, батько, сейчас наладимо, як бритва буде.

— Роби, сынок, роби гарно, — бормотал старик ласково.

Сашко ловко стучал, подгоняя клинья, коса при каждом ударе молотка издавала протяжный мелодичный звон. Затем он отпустил рукоять и начал передвигать ее по черенку.

— Трохи повыше, сынок, — наставлял старик.

— Я так и роблю, батько, — отвечал ему Сашко, поплевывая на рукоять и затягивая сыромятным ремнем. Затянув сыромятину, он проверил крепость рукоятки, покачав в разные стороны.

— Теперича гарно, батько, побачьте, як зробил.

Старик взял косу и, примерившись, широко размахнулся, посмотрел на сына и похвалил:

— Добре, сынок, добре!

Он пошел к уже начатому им ряду и, почти не сгибаясь, начал плавно косить. У него теперь работали лишь руки. Высокий взмах, коса плавно падала, срезая под самый корень траву, которая с легким свистом покорно ложилась в ряд. Пройдя таким образом шагов сто, Гончаров крикнул сыновьям:

— Ну-ка, хлопцы, начинайте!

По этой команде и Сашко, и Мефодий, и Тишко взялись за косы. Первым пошел старший — Сашко. Когда он прошел шага два-три, размахнулся косой Мефодий, потом Тишко, а за ним и мой дядя.

Старик стоял, поджидая их, то и дело покрикивая на косарей:

— Лёгонько, Сашко!

— Як ты размахнувся, Мефодий! — Бери ровней, Тишко!

— Момынкул, ты погано косишь, що сгорбився!

Четверка шла все слаженнее и слаженнее. Дядя мой старался изо всех сил, но у него не получалось, как у других косарей. Старик, не выдержав неловкости силача — «разрушителя гор», подошел к нему и отобрал косу, потом пошел ровным, плавным шагом за своими сыновьями. Так же ровно и плавно ложилась к его ногам [157] трава. Шагов через пятнадцать он остановился и, возвращая косу дяде, сказал:

— Вот як надо робить, Момынкул! Що ты силы дарма тратишь?

Тишко перевел эти слова своего отца дяде.

Гончаровы продолжали свой легкий и ровный шаг. Дядя, правда, не отставал от них, но был весь в поту. Он настолько устал, что его коса виляла в воздухе и часто тыкалась концом в землю.

Так прошли второй, прошли третий ряд. Дядя обливался потом и шел к началу нового ряда усталый, задыхаясь и вытирая мокрый лоб. Гончаровы же шли как ни в чем не бывало — спокойно и ровно.

В середине четвертого ряда дядина коса врезалась в землю, и у него в руках остался лишь обломок рукоятки. Да и сам он, потеряв равновесие, чуть не уткнулся носом в землю. Конечно, коса не выдержала его грубой силы и сломалась.

Кузьма стал кричать на дядю, называя его единственным словом, которое старик познал в казахской лексике: «Ахмак!» — дурак. Потом, быстро жестикулируя, он заговорил по-русски, обращаясь к своим сыновьям. Тишко не успевал переводить слова своего взволнованного отца, который часто перебивал его. Я снова услышал слова «Черт! Сатана!» Дядя, виновато потупившись, стоял перед стариком и бормотал что-то по-казахски, но слов я не разобрал.

— Отец говорит, — переводил Тишко, когда старик, выпалив все гневные слова, отошел в сторону, — что Момынкул — большой дурак, у него башка мала-мала работает, он может поломать не только косу, но и бричку.

Дядя, услышав, что старик отдает должное его силе, широко улыбнулся и попросил Тишко передать старику, что он завтра поедет на базар и купит несколько запасных кос для себя, ибо, видно, ему еще не одну косу придется поломать, пока научится, но он просит Кузьму, чтобы тот делал ему почаще замечания, если он не будет справляться со своей работой. Кузьма смягчился и предложил дяде свою косу. Не отставая от него ни на один шаг, Кузьма наставлял его при каждом взмахе.

Отец выполнял обязанности кузнеца и, сидя под тенью телеги, отбивал косы на наковальне. Мы с Василием [158] носились по полю за бабочками, позабыв, что еще несколько часов тому назад подрались и были врагами.

На нас лежала обязанность следить за лошадьми, которые паслись на лугу.

Затем Василий стал рассказывать мне, как звонят в церкви. В это время звонарь начал усердствовать, и звон колоколов деревенской церквушки доносился к нам, как отдаленная мелодия. Мы прислушивались к стройному хору колоколов. Я внимательно слушал объяснения Василия. Когда доносилось к нам басовое протяжное «б-у-ум-м», Василий говорил, что это ударили в самый большой колокол. Но вот звонарь брал все выше и выше, взбирался на самые высокие ноты по своей веревочной клавиатуре, наполняя трезвоном всю степь.

— Слышишь, слышишь?.. — кричал Василий. — Слышишь, вот это маленький, а этот еще поменьше голос подает, а вот этот самый махонький! Слышишь: дзинь! дзинь! — он щелкал пальцами в такт ударам колоколов.

Мы пришли к обоюдному выводу, что лучше всех поет самый маленький колокол, издающий такой нежный перезвон.

Я спросил Василия:

— А можно мне будет поехать в деревню и колокола посмотреть?

— Нет, батько в церковь басурманов не пускает!

Я спросил, почему его батька не пускает в церковь мусульман. В ответ Василий рассмеялся и объяснил, что говорил не о своем родном батьке, а о русском мулле. Мне сделалось грустно от ответа Василия, так хотелось посмотреть на русскую церковь, а главное — на маленькие колокола.

Василий свободно объяснялся на казахском языке, правда, несколько хуже своего брата Тишко. Остальные же из семьи Гончаровых были «немыми», как говорили у нас в ауле, потому, что они, не зная казахского языка, объяснялись мимикой и жестами, когда отсутствовали Тишко и Василий.

Мы лежали с Василием в траве. Навес, образовавшийся из густых и высоких трав, как шатер, спасал нас от солнцепека. Кони паслись на лугу, люди косили. Изредка к нам доносилось лязганье кос, когда они натыкались [159] на грубые сорняки, да еще режущий свист, когда Сашко ловко и быстро точил притупившуюся косу.

Лежа в высокой траве, мы с Василием говорили обо всем на свете. Вдруг Василий спохватился и, что-то вспомнив, перевернулся на другой бок, засунул руку в карман своих штанишек.

— На! — и он насыпал мне в ладонь полную горсть жареных семечек. Семена подсолнуха у нас почему-то называли «фисташками». Василий достал и для себя семечек и стал их быстро лузгать, сплевывая шелуху себе под нос.

Я никогда раньше не пробовал семечки, но от угощенья друга не смел отказаться. Набрав их полный рот, я начал старательно жевать, не догадываясь, что их надо лузгать, кончиком языка отделять зернышки от шелухи и выплевывать лузгу, как это виртуозно проделывал Василий. Я старательно прожевал все, что было во рту и выплюнул колючий комок. Василий отпрянул от меня, посмотрел вопросительно и с удивлением, потом дико расхохотался и, вперемежку бросая русские и казахские слова, что-то начал говорить. Но я ничего в его мычанье не понял. Он смеялся долго и громко, потом, еле удерживая приступ смеха, стал меня обучать, как надо лузгать семечки. Я долго упражнялся в этом, а Василий уже кончал всю свою порцию. Проглотив несколько раз шелуху вместо зернышек, я все же одолел угощение Василия, но от вновь предложенной горсточки отказался: у меня болел кончик языка.

— Василь, Василь!

Крик старика Кузьмы заставил нас встрепенуться. Василий вскочил на зов отца.

— А-а-у-у! Я здесь!..

Старик стал бранить сына за то, что мы забыли о конях, и те, наевшись сочной травы, начали валяться на лугу. Василий стрелой помчался и с гиком, свистом погнал их с луга. Кузьма еще долго бранился, грозил кулаком, что-то кричал нам вслед.

Больше половины луга уже было скошено. Скошенная трава лежала, как гребни застывших волн.

Женщины варили обед. Из-под повозки доносился стук молотка отца, отбивающего косы. Кузьма вернулся к косарям и, как вожак, встал во главе и ровным шагом, тяжело передвигая ноги при каждом взмахе, двинулся [160] вперед, за ним уступами пошли другие. Вся пятерка шла стройно, ритмично передвигаясь, словно они шли по льду, и как бы по команде, одновременно поднимая и опуская косы.

К полудню пятерка добилась полной слаженности, мой дядя, как и прежде, шел замыкающим.

— Смотри, — дернул меня за рукав Василий, — как Момынкул стал хорошо косить!

Да, мой дядя теперь не ежился, не тужился, как прежде, а шел прямо и свободно, как будто он выполнял привычные упражнения. Я вспомнил, как еще недавно Кузьма называл его дураком.

— Ха, мой батька всех обзывает дураками!

— А он бьет тебя? — спросил я Василия, вспомнив, как его отец свирепо грозил кулаком. — Очень бьет, да?

— Бьет! — подтвердил Василий с иронической усмешкой и классическим спокойствием. — Бьет, — повторил он. — Но я только стрекача даю! И появляюсь лишь тогда, когда он забывает, что хотел меня побить.

— А ты не ходи к нему сейчас, а то он тебя поколотит.

— Нет, — уверенно ответил Василий. — Мой батько уже забыл, что мы с тобой проглядели коней. А твой батько, — спросил в свою очередь Василий, — бьет тебя?

— Мой отец ни разу не бил меня, — гордо ответил я.

— А ты кого больше боишься: батько или дядю? — допрашивал Василий.

Я ответил, что больше боюсь дядю.

— А я своих братанов ни вот столечко не боюсь, — заявил Василий. — Ежели только они посмеют меня тронуть, батько завсегда за меня заступается.

Солнце стояло в зените и пронизывало все вокруг прямыми, как иглы, лучами. Было ослепительно ярко, и жара стояла такая, что даже мухи и кузнечики облепили траву с теневой стороны...

Кузьма дал «отбой». Косари, усталые и распаренные, вяло шагали к телегам. Разморенные, они бросались на свежую траву в тень от телег.

Мы поехали к себе домой, отказавшись от обеда у Гончаровых.

Гончаровы вернулись убирать сено через неделю. [161]

Казахи обычно не складывали сено в стога прямо в поле, как это делали русские, а вязали его в небольшие снопы, а потом метали на крыши, и каждый стог, сложенный на крыше или в загоне, измерялся количеством снопов. В этом стоге тысяча снопов», — говорили наши. Сложенный стог служил измерителем порции корма для лошади. Казах знал, что на день ему надо выдать скотине столько-то снопов сена, чтобы растянуть корм до зелени, когда скоту можно будет кормиться свежей травой.

...Трава, лежащая на лугу в рядках, пожелтела, подсохла. Гончаровы приехали на телегах укладывать сено, наши работали с ними.

— Ну что, Момыш, будем скирдовать? — спросил Кузьма.

Отец, соглашаясь с ним, кивнул головой, но дядя, обойдя своего старшего брата, поспешил обратиться к переводчику Тишко со словами:

— Я буду по-нашему — вязать снопы, а вы скирдуйте по-своему.

Тишко перевел, Кузьма, нахмурившись, сердито ответил:

— Що це таке, кто тут хозяин, Момыш чи вин? — и он развел руками, взглянув на отца.

Отец объяснил через Тишко, что Момынкул ведет хозяйство, и уход за скотом лежит на нем, поэтому пусть он убирает сено, как он считает удобным для себя.

Тишко долго объяснял слова моего отца. Кузьма горячился, приводил какие-то доводы, страстно жестикулируя. В разговор вмешались женщины, на которых отец и дядя смотрели неодобрительно, как бы говоря: «Что это вы в мужские дела вмешиваетесь?» Мы просили Тишко перевести, что говорит его батько, но тот ответил только «сейчас» и ждал окончания семейного спора. На наших глазах на неизвестном для нас языке шел семейный совет Гончаровых. Кузьма кричал на своих, горячился, быть может, бранился, а те спорили с ним, уговаривали его, убеждали.

Наконец Гончаровы пришли к единогласию, и Тишко перевел нам:

— Батько говорит, — начал он, — у нас нет времени вязать снопы, да и снопы бывают разные. — Тут Тишко остановился и призадумался: как бы получше и подипломатичнее перевести грубые слова своего отца. — Он говорит, зачем Момынкул ортачил с ним, если он все собирается делать по-своему? Он, конечно, не может заставить Момынкула стоговать и скирдовать сено, но он также не может и вязать снопы по-казахски.

— Давайте поделим так... — предложил дядя свой план.

— Тишко, що вин казав? — вмешался старик Кузьма.

— Он говорит, что луг неровный, рядки не одинаковые, и говорит, как надо делить.

— Очень просто, — живо ответил дядя. — Вашу одну треть начнем справа... Две гряды наши, одна — ваша, кому какая попадется — ну и ладно...

Тишко перевел предложение дяди. Кузьма, немного подумав, махнул рукой:

— Нехай буде так, як вин казав! — но предупредил, что они больше нам помогать не будут, и пусть Момынкул сам себе вяжет снопы, коль ему так хочется.

Дядя ответил, что он согласен.

Все пошли на правый фланг гряды. Кузьма шел впереди, меряя землю широкими шагами, а мой отец, не привыкший ходить пешком, мельтешил за ним. Кузьма отсчитал две гряды и внимательно осмотрел третью своими безресничными красными глазами. Отодвинув носком сапога конец гряды, он как бы сказал: «Это моя».

На четвертой остановке ему попалась жиденькая гряда. Тут Кузьма, размахивая руками, закричал на своих сыновей. Сыновья пытались показать на наши, тоже жиденькие гряды, но старик разошелся до того, что мой отец и без переводчика догадался в чем дело, махнул рукой и показал, что Кузьма может брать следующую гряду. Кузьма уж было подошел и занес ногу, чтобы завернуть край гряды, как его сыновья и женщины завопили на него, по-видимому, упрекая его в жадности и в нарушении предложенных условий. Старик топнул ногой, погрозил им кулаком и завернул край той гряды, которая по жребию полагалась ему. Не переставая ворчать, он пошел дальше...

Гончаровы взялись за грабли и вилы. Мужчины вилами сворачивали гряды, а женщины шли за ними, [163] подчищая граблями остатки сена. Вскоре в конце длинных гряд стали образовываться одна за другой копны, которые почему-то назывались «чумелеями». Когда к полудню все «чумелеи» были сложены, мужчины вилами стали таскать сено в одно место, а женщины под командой Кузьмы складывали настоящую скирду...

Мы приступили к вязанию снопов. Рядом находился еще не скошенный луг, и мы пошли туда, чтобы выдернуть высокие травы с корнями. Из них стали делать перевязи. Разложив их вдоль гряды через каждые три шага, отец и я начали складывать сухое сено на перевязи, дядя же, как самый сильный, шел сзади нас и вязал снопы, придавливая охапку сена коленом. Работа шла быстро, и к вечеру мы связали более трехсот снопов.

Так продолжалось три полных трудовых дня. Подбадриваемый отцовской и дядиной похвалой, я впервые участвовал в общем труде.

— Настоящим джигитом стал наш Баурджан, — хвалил меня дядя.

— Иди, надергай еще травы для вязи, только выбирай подлиннее, — посылал меня отец.

Я, конечно, уставал сильно, но мне так приятна была их похвала, что я старался изо всех сил...

* * *

Храбрый воин и лихой спортсмен часто бывают людьми риска. Большая часть из них умирает не своей естественной смертью, и редко кому на долю выпадает участь расстаться с жизнью на постели, у себя дома. Жизнь у них, как натянутая струна, которая обрывается при полном аккорде и, издав последний звук уже оборвавшейся жизни, умолкает.

«Джигит без коня, что птица без крыльев», боевой скакун — крылья джигита, кто без коня, тот в плену мук и унижений, — таково было отношение к коню у казахов. Казах предпочитал терпеть любые лишения, но не разрешал себе безлошадности. «Жалгыз атты ребен» — однолошадный бедняк — предел бедности, безлошадных называли «Кутомар» — сухой пень.

Каждый казах умел ухаживать за конем и проявлял большую заботу о лошади. Он никогда не поил и не [164] кормил коня разгоряченным. Выстойка после езды была обязательной. До коллективизации казахи вообще не работали на лошадях и на базаре не покупали русских лошадей, считая, что у них набита холка и помяты хрящи лопаток. Конь у казахов предназначался для езды только верхом. Ни один казах не доверял своего коня никому. На скакунов не сажали женщин из-за «тяжести их подолов».

Потеря любимого коня оплакивалась казахом так же, как и потеря дорогого человека. С древнейших времен конь воспевался наравне с легендарными героями. В народном эпосе казахов рядом с именами героев сохранились легендарные клички их коней: Тайбурыл — конь Кобланды-батыра, конь Алпамыс-батыра, Дол-доль — Алишера, конь Тулегена и т. д. Еще до сих пор в народе поют песню «Кулагер» — о гибели коня, печальная мелодия которой полна трагизма и скорби. В сказках, песнях, музыке, поэмах всегда казах отводил почетное место коню. Про хороших коней до сих пор говорят: «Конь, стоящий невесты!» Это предельное восхищение конем и безграничная любовь к нему наследуются у казахов из поколения в поколение.

Знаменитый Кок-шолак был в жизни Аккулы последним его конем, а он — его последним седоком. Они, как верные друзья, покинули наш аул навсегда в один и тот же день, и нельзя было разобрать, кого из них больше оплакивал народ. Словами Аккулы, произнесенными им при последнем вздохе, были:

«Накройте меня шкурой Кок-шолака!»

Итак, о смерти Аккулы и гибели его коня Кок-шолака начинаю я повествование.

Старшую дочь моего деда и бабушки звали Айша. Она была на десять лет старше моего отца. Ее выдали замуж за Джантуре из рода Шегир, населявшего подножие горы Казыгурт.

Путь в аул к зятю Джантуре лежал через перевал Чокпак — Кремень. Так называли его из-за множества светлых кремневых камней, которыми до сих пор играют дети в темноте, высекая из них снопы искр.

Далее на пути дорога пересекала долины Майликент и Тюлькубас, проходила через ущелье Масат и по долине реки Ак-Су, которую русские называли «Белые воды» из-за белого ила, который она несет с вершин [165] гор, откуда и берет свое начало. Потом дорога пересекала плоскогорья Сайрам и Ленгер и поднималась на Казыгурт.

Верхом это расстояние преодолевалось в три дня. Айша и Джантуре считались у нас самыми далекими по расстоянию родственниками, и их визиты были самыми редкими.

Джантуре овдовел очень рано. Ему было только шестнадцать лет, когда его первая пятнадцатилетняя жена умерла от родов, оставив мужу маленького сына Булата.

Мой дед был в дружественных отношениях с отцом Джантуре. Его сын Булат приходился нам племянником, так как мать его была из нашего рода. Было решено не терять и в дальнейшем родственных связей, и нашу Айшу, которой было в то время семнадцать лет, выдали замуж за Джантуре.

Джантуре был в первый раз назван женихом в четырнадцать лет от роду. Его отец считал нормальным женить сына в этом возрасте, который, по мусульманскому обычаю, считается совершеннолетием.

Много рассказывалось о том, кто когда женился и сколько лет было его невесте, приводилось множество примеров, говорили, что вот такая-то имела своего первенца на тринадцатом году жизни. Наконец, рассказывали, что даже сам святой Магомет женился на одной из своих жен, когда ей было всего семь лет. Как видите, развратная жизнь самого пророка приводилась казахами как образец чего-то святого. Она и являлась основанием для оправдания раннего замужества, женитьбы и многоженства. Правда, казахи не соглашались со своим пророком в одном: бракосочетании единокровных — женитьбе двоюродных братьев на двоюродных сестрах — и презирали тех, кто допускал такие браки.

Первая жена Джантуре приходилась двоюродной сестрой Аккулы, по линии каких-то бабок, а ее сын Булат, коренастый черный старик с реденькой седой бороденкой, которая, как лучи, расходилась во все стороны на его худом, точеном лице, приходился Аккулы племянником.

Булат родился, когда его отец был в юном возрасте. Он мужал и старел вместе со своим отцом. Они носили [166] кличку «два старика», а для различия в ауле их звали «стариком-отцом» и «стариком-сыном».

Джантуре и Булат были заядлыми кокпаристами. Они были столь же легендарными спортсменами в своем округе, как Аккулы у нас.

В этот день мы все были дома. Заходящее солнце косыми лучами ярко освещало наш стан. Вот под бугром показалось четверо всадников. Они темными силуэтами выделялись на фоне солнца. Одним из всадников была женщина в белом. Ехали они шагом, неторопливо.

— Что за путники? — с волнением спросил отец и, приложив руку к глазам, всматривался вдаль. — Кажется, Айша едет. Иди, Момынкул, распорядись о приеме. — Он еще пристальней посмотрел в сторону дороги. — Да, это они! Вон Джантуре, я его по посадке узнаю, а это Булат, что едет немного сгорбившись, а вот и Аскар, свечой сидит на коне. Большую юрту готовь для гостей! — крикнул отец вслед уходящему дяде. — Айша не захочет войти в малую. Готовьте все быстрей, а то они будут скоро тут.

Всадники приблизились уже «на рывок скакуна». Не было сомнения, что едут именно они! Айша ехала иноходью впереди на гнедой красивой кобылице, мужчины же, еле поспевая за ней, трусили мелкой рысью. Айша сидела на коне уверенно и гордо, полная сознания, что ее конь стучит копытами по земле предков.

Отец, не отрывая глаз, смотрел на приближающихся путников. Вот он бросился бегом и, когда Айша придержала иноходца, взялся за повод ее коня. Старуха разволновалась, растрогалась и, невнятно что-то бормоча, с умилением смотрела на своего брата.

У отца, тоже сильно взволнованного, дрожали колени. Он, придерживая левой рукой коня, правую протянул сестре со словами:

— Сойди, акпэ.

С дрожью в голосе он продолжал:

— Ты, должно быть, устала от долгой езды, сойди, ангел мой, сойди, моя нянюшка!

Его слова вконец растрогали старуху, и она опустилась с коня на руки брата. Отец ловко взял ее на руки и, поддерживая, успокаивал: [167]

— Не надо так сильно волноваться, акпэ... Ты устала. Пойдем в дом — там отдохнешь...

Бледная, коротконосая, с небольшими припухлостями под глазами, острым подбородком и тонкими дрожащими губами, старуха слабым голосом спрашивала у отца:

— О, где же теперь моя драгоценная мать?

Эти слова особенно растрогали дядю, и он, до тех пор спокойно стоявший в стороне, начал всхлипывать, вытирая глаза.

— Ну, хватит, Айша! Довольно давать волю родственным чувствам! — вмешался румяный, белый старик, с красивой атласной седой бородой, в серой меховой шапке. — Святая была женщина, мать Айши, покойница, но ведь никто из нас не может всю жизнь пройти рядом с родителями! — так говорил Джантуре — муж некрасивой старухи, нашей Айши.

Стоявший несколько в стороне худой коренастый старик Булат почтительно вмешался:

— Вы же обещали мне вести себя хорошо.

Поддерживая под уздцы стройного и сухого вороного мерина, стоял, вытянувшись в струнку, бронзовый, голощекий, остроносый, тонкогубый, узкоглазый джигит с чуть вытянутым лицом. Он был в бешмете и остроконечной сусликовой шапке. Это был Аскар — родной сын Айши.

На нас, детей и домочадцев, никто не обращал внимания. Старики в пылу трогательных излияний забыли об окружающих и вспомнили о нас лишь после обычных приветствий: «Какая была дорога? Покойно ли несли вас ваши кони? Здоровы ли дети ваши? Благополучно ли с вашими стадами?»

Обиднее всего было то, что старуха, так ласкавшая моего старого отца, не знала даже моего имени. Поманив меня, она, рассердившись на себя, «потьфукала» по сторонам и положила свою сухую, морщинистую руку на мой лоб.

— А это твой сын, Момыш? — спросила она. — У меня тоже такой взбалмошный внук растет!

— Дай бог, из него хороший джигит выйдет, — добавил Булат.

Отец был растроган лаской сестры и встречей» Джантуре продолжал шутить с отцом и со своей женой. [168] Булат изредка вмешивался в разговор, а Аскар не проронил еще ни единого слова. Дядя во дворе был занят хлопотами по приему гостей.

Перед чаем Айша созвала всех наших домочадцев, раскрыла привезенные коржуны и начала раздавать подарки. Женщинам досталось по отрезу на платье, мне и дяде она подарила цветастые тюбетейки, которые тут же собственноручно надела нам на головы, отцу же подарила каракулевую шапку собственного шитья и под общий смех начала кормить его и угощать, как ребенка, разными сладостями.

— Что ты делаешь, старая? — смеялся Джантуре. — Ты лучше раздай сладости детям.

— Да подожди же, — ответила старуха, оберегая узелки со сладостями, — сначала я отдам долю Момышу, а уж потом пусть каждый берет что хочет...

— Боишься, что Момыша могут дети обидеть? — расхохотался Булат.

Отец, смеясь, принимал в горсть подарки сестры.

— Ведь я же для него привезла, — серьезно отвечала старуха, — и должна вложить ему в руки...

Пока шел этот забавный дележ, вошел, приветствуя приехавших, Аккулы. Трогательно обнявшись со всеми, он сел рядом с Джантуре. После обычных приветствий Аккулы виновато взглянул на старуху и сказал:

— Грешен я, Айша-апа, перед этим шанраком, грешен... Но меня влекла сюда непреодолимая сила, когда я услышал о вашем приезде. До вас дошли, вероятно, вести о том, что между нами прошел холод раздора... Я заставил себя через силу перешагнуть этот порог. Слыхано ли, какой позор меня окутал?

Джантуре на слова Аккулы осуждающе покачивал головой и молчал. Булат, тяжело вздохнув, опустил глаза и стал внимательно рассматривать разостланную перед ним скатерть. Аскар продолжал сидеть в позе индийского божка.

— Ты хорошо сделал, Аккулы, что пришел. Я от души рад этому, — начал отец.

Но старуха, задыхаясь, вскричала:

— Где же уродище из моего гнезда?! — и обрушилась, размахивая кулачками, на дядю, который вносил в эту минуту в юрту самовар. — Какая нечистая сила [169] занесла тебя в мое гнездо? Какой дьявол вселился в тебя, отщепенец? О! О! Что же ты мне уготовил на старость, перед смертью? Ты мне как острым ножом разрезал сердце! Зачем тебя в пеленках не унесла какая-нибудь поганая болезнь? Почему не сразили тебя злые духи, что окутали черную твою душу? Какой позор! Какой позор, что ты мне одноутробным братом приходишься!

— Айша! — строго окликнул ее Джантуре.

— О, я больше не Айша! — в слезах закричала старуха. — Покинь меня, я сестра этого дьявола! — Она сухим, морщинистым пальцем показала в сторону дяди и, отплевываясь, отвернулась, вытирая слезы концом платка. — Тьфу, тьфу, тьфу, неверный! Пусть не станет на тебе лица! — говорила она совершенно опешившему дяде.

— О, зачем, зачем я только живу и сижу сейчас здесь, под родным шанраком?! — вопрошала она. — За что меня так жестоко наказывают, за какие грехи?! Каково мне видеть это наглое лицо? — она снова несколько раз плюнула в сторону дяди и закричала, взмахивая руками: — Вон с моих глаз. Вон! Вон!

— Иди, Момынтай, иди, брат мой! — сказал отец дяде, который растерянно смотрел на него.

Дядя покорно вышел из юрты.

Такова была тяжелая доля младших среди казахов: покоряться старшим во всем и не сметь возражать им никогда, ни при каких обстоятельствах.

Мне было до того жаль дядю, что я юркнул во двор следом за ним.

Бедный дядя с широко раскрытыми глазами, весь багровый от стыда и гнева, стоял посреди двора, бессмысленно уставившись вдаль...

Бабушка всегда его ругала. Серкебай его сек и пилил, даже мой отец однажды назвал его дураком, а эта коротконосая старуха при всех разнесла его в пух и прах и выставила из его же собственного дома.

Мне так хотелось в чем-нибудь помочь дяде, при-пять на себя хотя бы часть тех ударов, что сыпались на него от старших, но я не посмел к нему подойти, а он продолжал стоять неподвижно с устремленным вдаль взглядом. Потом, заметив меня, он тихо сказал:

— Иди в юрту, помоги отцу чай разливать.... [170]

Когда я вошел в юрту, все уже мирно пили чай, только на лице Айши-апа лежала пелена бледности: старуха все еще, по-видимому, не могла преодолеть какого-то внутреннего противоречия. Чай она пила жадно, не оттого, что проехала длинный путь, — она заливала, казалось, какую-то свою нерешительность.

— Почему ты не предупредил меня об этом раньше?! — упрекнула она отца.

— Но ведь ты же не дала нам и слова вымолвить! — оправдывался он.

— Все это тяжелое и печальное недоразумение.

— Айша-апа, — сказал Аккулы — Злой язык оклеветал их... Крутой был характер у моей снохи, а я поддался злым словам. Ежели бы это было правдою, я никогда бы в жизни не переступил порога этого дома. Да, она права была, моя красавица, отомстила мне, старому дураку, — продолжал Аккулы. «Коль меня не пожалели, то и мне вас жалеть незачем!» — передала она нашему посланцу.

— Вы оскорбили женщину, оскорбили жестоко и без жалости, Аккулы, — старуха выпрямилась и резко добавила: — Женщину оскорбить — не надо много ума. Мы все — жертвы раздоров и мелких ваших сплетен! Как тебе, седому, не стыдно?!

Она гневно смотрела на Аккулы. Аккулы сидел уничтоженный, как-то ссутулясь и вобрав голову в плечи.

— С толку сбили меня, Айша-апа! Черт за душу дернул... Обида душила.

— А теперь, я вижу, ты доволен своим позором! Сам накликал на себя все! — выпалила старуха со злобой. — Мальчишка несчастный, вот ты кто!

Шестидесятилетний «мальчишка» сидел насупившись в углу и, посапывая, глотал горячий чай, нервно постукивая по дну пиалы.

— Я его ругаю, ругаю, а он и слова не возразил мне, мой родной! — Айша-апа всхлипнула и повторила сквозь слезы: — Ни слова не промолвил против меня, мой родненький, а он ведь у нас самый меньшой... Смотрит он на меня растерянными глазенками и молчит, как бы я его ни обзывала! — Тут Айша уже заплакала. — Как же я посмела обидеть самого меньшого?! А когда я, старая дура, крикнула: вон!.. — Голос ее [171] задрожал, и затрясся морщинистый подбородок. — А-а-а! Он, милый, покорно вышел из родной юрты.

— Ну, довольно тебе, — строго остановил Джантуре жену, которая заливалась слезами. — Наругалась, расстроилась, наплакалась — кажется, всеми удовольствиями насытилась...

— Ты со мной так не говори! Я тебе здесь не жена! — всхлипнула старуха. — Под шанраком моих святых родителей ты у меня не хозяйничай! В этом доме я тебе только невеста!

При этих словах старики и старухи расхохотались, даже молчаливый Аскар схватился за живот.

— Сиди, как порядочный жених! — прикрикнула она на Джантуре под смех присутствующих.

Джантуре, хлопнув себя по коленке, воскликнул:

— Аи, какой молодец ты, старая! — Он шутливо принял позу застенчивого жениха и деланно молодым голосом обратился к Айше, как к барышне-невесте: — Вы всю эту юрту освещаете своей красотой! Вы наполнили эту обитель соловьиными напевами! Долго ли вы будете еще чирикать, свет очей моих, Айша? — иронически добавил он и заключил уже строго: — Если ты сама не устала от своих напевов, то пожалей других!

В этот момент в юрту вошел дядя. Видимо, он прислушивался к разговорам и, когда настал удобный момент, счел возможным вернуться. Увидев его, Айша-апа снова дала волю своим слезам и словам.

— Садись, мой миленький, садись, садись, мой мальчик. — Она, всхлипнув, вытерла концом платка глаза и протянула руку с пустой пиалой: — На, Момынтай мой, налей мне чаю, дорогой братик!

Разрешением налить себе чаю она как бы извинилась перед дядей, но одновременно в тоне ее было подчеркнуто, что она права, и что ее поступок не подлежит обсуждению младших.

Дядя почтительно взял пиалу, налил чай и так же почтительно подал ей.

И в дальнейшем Айша-апа, пользуясь правом старшей в нашей семье, не отказывала себе в удовольствии распоряжаться, давать наставления, указывать, а иногда и покрикивать на нас и даже на своих, включая и Джантуре. На вопросительные взгляды мужа и недоуменные его вопросы она отвечала во всеуслышание:

— Я была первым ребенком, рожденным в этом доме. Я первая принесла радость своим родителям. Меня первую нянчили под этим шанраком!

Для ответа на эти доводы у наших не хватало слов и оставалось лишь покориться воле старухи.

* * *

Семья Джантуре, так редко посещающая наш аул, буквально ходила по рукам родичей всего нашего подрода. Их то приглашали отведать «вкус соли», то они сами шли поздравить какую-нибудь семью с новорожденным, или новобрачным, или же с разделом от большой юрты в «отау», то есть созданием новой семьи. Долг вежливости предписывал в такие дома идти без приглашения. Вообще, если в доме произошло какое-нибудь заслуживающее внимания событие, казахи никого не приглашали, оставляя дверь открытой для всех желающих выразить свои чувства и радость по этому поводу.

Каждая юрта, как правило, встречала семью Джантуре бараньей головой и бесбармаком из только что забитого в их честь барана. Мы, сопровождавшие их, наедались до отвала свежим мясом.

У двоюродного брата Аккулы Дембая родился первенец — сын. Плоский, утконосый, рыжебородый, с короткими кривыми ногами Дембай еще до моего рождения женился на высокой, стройной, худой и черной, как мумия, женщине, которую в ауле прозвали «шестом» за прямизну и очень высокий рост. Дембай и его жена долгое время были бездетными и тяжело это переживали, поэтому с таким трепетом он и его друзья ждали, кого

подарит ему жена. Рассказывали, что когда, после первого крика новорожденного, одна из женщин выбежала из юрты с радостной вестью, что родился мальчик, бедный многострадальный Дембай, услышав это, обнял женщину и разрыдался у нее на шее, как ребенок. От счастья потеряв всякую способность владеть собой, Дембай перебегал от одного к другому и каждого вопрошал:

— Неужели это правда, что я отец? У меня сын! [173] Сын у меня будет расти! Сын родился! Сын родился! О создатель, как я тебя благодарю!

И в наш аул прибежал юноша с этой вестью. Он также был заражен общей радостью своего аула: бездетным супругам «бог подарил» сына. Глотая концы каждого слова, юноша доложил:

— Аккулы-ата просит вас, Айша-апа, быть крестной матерью, а Джантуре-ата — крестным отцом новорожденного...

Все наши, во главе с Джантуре и Айша-апой, отправились в аул Аккулы. В ауле уже дымились очаги, и из стада волокли барана. Мы шли медленно за Айша-апой и Джантуре, не смея обогнать с достоинством шагающих стариков, с трудом сдерживая пыл своего любопытства.

Народ, собравшийся в ауле Аккулы, смотрел в нашу сторону, поджидая нас. Женщины перебегали с посудой из юрты в юрту. Как обычно, одинаково как в тревожные дни, так и в радостные, они суетились и перекликались между собой.

Аккулы стоял в середине в белом халате из верблюжьей шерсти, полы которого были так широки, что казалось, это стоит не Аккулы, а серо-мраморная статуя деда. Широкополая белая шляпа из войлока придавала ему внушительность. Когда мы были в двадцати шагах от них, Аккулы тронулся навстречу нам, и свита его последовала за ним. Он шел быстро, порывисто, полы его нового халата развевались по ветру, и как-то все его величие мигом пропало в моих глазах.

— Здравствуй, старшая сестра, — обратился он к Айше.

— С радостью вас всех, родные мои, с радостью! — ответила Айша-апа.

Перебивая друг друга, мы стали поздравлять всех аккуловцев с новорожденным. Вдруг из соседней юрты выбежал, ковыляя на кривых ногах, и сам Дембай.

— Айша-апа! Айша-апа-а-а-а-а-а! — как ребенок, с криком бросился он в объятия старухи. Его стали успокаивать, но он продолжал всхлипывать.

Набралось народу уже больше полусотни. Появились женщины с подносами в руках и с возгласами поздравления начали подбрасывать вверх свежие баурса-ки. Их ловили на лету, подбирали с земли и со смехом [174] отправляли в рот. Так открылось торжество по случаю рождения у Дембая первого сына.

На третий день после рождения младенца, на потеху степным спортсменам, что бесновались на конях, покатилась еще одна голова козла из стада Дембая. Кокпар начался после обеда, когда лучи солнца косыми пальцами ласкали землю. Джантуре, Булат, Аскар, дядя сами седлали своих коней, не доверяя другим. Подтягивали стремена, укорачивали путалища. Подпруги врезались в грудь коней, сжимая им дыхание. Все были по-особенному внимательны и ласковы к своим скакунам. Шла подготовка к кокпару.

На этот раз и у меня были свой конь и свое седло. Дядя помог мне оседлать трехлетнего темно-серого жеребца.

— Держись только подальше от толпы, — предупредил он меня.

Джантуре и его сыновья оказались азартными и ловкими наездниками. Красивый старик с тушей козла вырвался из толпы и, чуть подав корпус вперед, понесся по полю, увлекая за собой всех всадников. Казалось, его конь плыл по воздуху, выбрасывая вперед ноги.

Аккулы, как староста аула, на этот раз стоял в числе болельщиков в стороне и встречал каждый из приемов Джантуре восторженными восклицаниями:

— Как он плавно повернул! Конем только управлять умей! — строго наставлял он окружающих. — Конь дальше и сам все сделает. Не мешай животному, дай только знать толком, что ты от него желаешь... О святая твоя белая борода, Джантуре! — восклицал он, когда Джантуре, резко осадив коня, пропускал мимо себя догоняющих и тут же, круто повернув в сторону, обманывал толпу, которая вихрем пролетала мимо него. — О старое поколение лихих джигитов! О, старая школа наша! — шептал Аккулы. — Видели, видели? — снова кричал он болельщикам, показывая на Джантуре.

А Джантуре носился по полю, водя за собою конную толпу. Но вот из толпы к своему отцу вырвался молодой Аскар на сером коне и, догнав его, протянул руку: «Дай мне!» Джантуре на полном скаку швырнул тушу козла в сторону сына. Аскар так ловко схватил ее на лету, что в толпе болельщиков снова раздались возгласы восторга. [175]

Джантуре скакал рядом с сыном и, видимо, наставлял его, как надо вести коня, какой следует совершить маневр, когда приблизятся преследователи... Так в паре носились они по полю, волоча за собой, как длинный шлейф, конную массу. Вдруг оба коня рванулись одновременно ввысь, совершая головокружительный прыжок. Отец и сын пронеслись над препятствием и, одновременно приземлившись, поскакали дальше. Гнавшиеся за ними всадники шарахнулись в сторону: впереди была широкая, глубокая канава, прорытая быстрым течением горного потока.

В восторге загудела толпа болельщиков. Джантуре, заметив, что они одни по ту сторону рва, повернул обратно и вторично, с сыном, перелетел через эту пропасть так складно и одновременно, что, казалось, сама земля застонала от восхищения лихостью наездников.

— Никогда в жизни не видел я таких лихих джигитов, — удивлялся один.

— Не кони, а крылатые птицы! — восторгался другой.

— Ах, у меня сердце прямо замерло! — волновался третий.

— Да, для благородного коня лихой наездник не обуза, а крылья! — заключил Аккулы.

Произошла небольшая пауза в игре, ибо никто уже более не пробовал оспаривать у Джантуре и Аскара права на победу.

Но вот включился в дело сам Аккулы, вызвал новые восторги своей лихостью и ловкостью. Джантуре не вытерпел похвалы, что сыпались на Аккулы, и стремительным рывком послал своего коня вдогонку. На «поле боя» остались только два убеленных сединами джигита, что боролись за славу и первенство. Но вот, когда Аккулы поворачивал коня, Джантуре, коварно подкравшись, неожиданно вырвал из его рук тушу козла. Аккулы был ошеломлен. Но, опомнившись и увидев, какую шутку сыграл с ним Джантуре, одобрительно помахал ему рукой и придержал Кок-шолака. Джантуре в это время, описав широкий круг, носился вокруг Аккулы, поддразнивая его и выделывая разные фигуры. Вот на полном скаку подлетел он к Аккулы, и швырнул ему кокпар. Тот, подхватив тушу козла, обратно перебросил ее Джантуре, так оба старика, к удовольствию всех присутствовавших, [176] носясь по широкому полю, жонглировали тушей козла, увлекая за собой конную толпу.

Схватив в последний раз у Джантуре тушу козла, Аккулы внезапно повернул в сторону и понесся прямо к канаве, которую перелетел стрелой. Толпа весело загудела. Мчавшиеся за Аккулы всадники снова остановились у препятствия, и лишь Джантуре, войдя в азарт и разозлившись на Аккулы за то, что тот так ловко его провел, перемахнул через ров и снова стал преследовать Аккулы. Борьба между стариками завязалась всерьез. Джантуре вот-вот догонит Аккулы и уже протягивает руку, чтобы ухватить добычу, но Аккулы ловко перебрасывает тушу козла на другую сторону. Тогда Джантуре всем корпусом перебрасывается через круп Кок-шолака и тянет кокпар к себе. Вот, встав на стремена, он уже почти окончательно вырывает у Аккулы добычу, но тот успевает вцепиться в ноги кокпара. На полном галопе летят всадники, ведя борьбу и не уступая первенства. Они несутся, перевалившись корпусами в противоположные стороны, и их кони бегут как будто по наклонной плоскости.

Все взоры были направлены на скачущих стариков, которые повернули своих скакунов к оврагу. Джантуре, обогнав Аккулы, первым перемахнул на нашу сторону. Аккулы, который спешил преодолеть преграду раньше Джантуре, отпустил поводья Кок-шолака и пригнулся к его шее. Вдруг конь и всадник исчезли из поля зрения, как будто земля проглотила их.

— Ох, — простонала толпа и бросилась к месту, где исчез славный джигит.

Это была волчья яма, прорытая подпочвенным течением горной воды. Аккулы с конем провалился в нее. На дне образовавшегося оврага стояла густая пыль, за которой ничего нельзя было различить.

Старшие спешились.

— Снять все чембуры, — скомандовал Джантуре, отвязывая свой чембур.

Все последовали его примеру.

Перед Джантуре кучей легли скрученные из конских волос чембуры, блестевшие, словно змеи. Джантуре ловко связывал их, покрикивая на помогавшего ему Аокара. [177]

— Подавай скорей! Тяни этот узел! Еще раз обмотай!

Пока связывали веревки, пыль рассеялась и, как сквозь дым, стали видны копыта Кок-шолака.

— Кок-шолак лежит на спине! — с тревогой вырвалось у кого-то.

Джантуре сделал несколько петель и ловко, одну за другой, набросил на ноги коня. Конь задергался, отбиваясь.

— Тяните! — скомандовал Джантуре.

Вот на поверхности показалось потное тело Кок-шолака. Конь лежал неподвижно, раза два попытался поднять голову, но со вздохом, похожим на стон, снова опускал ее на землю. Его большие черные глаза, запорошенные пылью, часто мигали.

— Смотрите, он глазами ищет хозяина!

— Эх, эх, эх, эх! — рыдал Дембай.

— Осторожно, осторожно! — закричал Джантуре. — Осторожней, дети мои, он еще не пришел в себя.

Я обернулся. Джантуре, весь в грязи и в крови, нес на руках покрытое серой пылью тело Аккулы, за которым спускался на дно оврага. За ними волочилась веревка, привязанная к поясу Джантуре. Глаза Аккулы были закрыты.

— Что вы столпились?! Дайте воздуху! Разойдись! — крикнул Джантуре.

— Ой, аи, мой родной отец! — завопил Жаксыбай.

— Я его сюда, сюда положу... — и Джантуре опустил тело Аккулы на землю рядом с Кок-шолаком.

Прискакал гонец из аула, посланный за водой.

Джантуре поднял голову Аккулы и обрызгал его лицо водой, вытирая капли большим цветастым платком...

На зеленом поле, покрытом мелким серым щебнем, лежали рядом в беспамятстве старый бледный Аккулы и весь в глине, тяжело храпевший Кок-шолак. Вокруг, стояла, понурив головы, недавно безумствовавшая и бесновавшаяся толпа: молодые и старики, юноши и джигиты. Они глотали душившие их слезы, что подступали к горлу, боясь раньше времени отпевать своего любимца и вожака в азартной народной игре.

Аккулы не подавал признаков жизни. Джантуре [178] держал его голову на руках, продолжая освежать лицо старика водой.

— Аккулы, Аккулы! — звал он. — Ты меня слышишь?

Аккулы молчал. Но вот толпа затаила дыхание: старик зашевелил губами.

— Аккулы, Аккулы! — продолжал звать Джантуре.

Аккулы очнулся, слабым голосом спросил:

— Это ты, Джантуре? Ты со мной?

— Да, Аккулы, мы все здесь, возле тебя…

— Хорошо... — еле слышно произнес Аккулы. — Пить!

Джантуре поил его ключевой водой. Вода текла по седой бороде Аккулы, а голова его продолжала беспомощно лежать на руках Джантуре. Он прошептал что-то невнятное, но Джантуре понял его и велел расседлать Кокшолака, затем разостлать на земле потники и положить вместо подушки седло.

Джантуре с осторожностью перенес Аккулы на эту постель.

— Надо дать ему прийти в себя, прежде чем переносить в аул, — сказал Джантуре.

К этому времени большой красный шар солнца более чем на четверть утонул за хребтами Чокпака, украсив мягким красным отсветом его вершины.

Знатоки определили перелом позвоночника у Кок-шолака. Вот почему он не мог двигать конечностями. Его оттащили подальше от Аккулы и, со слезами на глазах, отсекли голову и сняли шкуру. Его жилистую пропитанную потом тушу разобрали на мелкие куски, как мясо священной птицы.

Когда громадная тень горы побежала в нашу сторону и солнце утонуло за Чокпаком, в сумерки пришедшего в сознание Аккулы на натянутой между двух коней шкуре Кок-шолака повезли в аул. Эскорт всадников в молчании сопровождал умирающего до его родной юрты.

О джигитство, соревнование в силе и ловкости, великий спорт степей, как ты сближал людей! Прав был тот, кто сказал: «Наша жизнь — игра! Наша дружба в игре!»

Аккулы в последний раз переночевал в своей юрте, а наутро его душа стремительно понеслась навстречу восходящему солнцу. [179]

* * *

Чему меня отец научил — это арабскому и русскому алфавиту и цифрам. Читать я не умел, а писал из-за интереса выводить буквы, то есть, вернее, пачкал бумагу, стараясь воспроизвести то, что написано было в книге. Букваря в нашей библиотеке не было, а имевшиеся книги были напечатаны мелкой арабской вязью, и мне не удавалось начертить на бумаге что-либо похожее на буквы, так как в арабской вязи неискушенному трудно выделить отдельные буквы. Очень скоро у меня отпало всякое желание копировать что-либо из книг.

Отец стал меня учить читать. Так как название букв резко отличалось от гласных и согласных звуков, и арабские знаки «зер», «забар», «уртут», «тэштут», «сэкун» и прочие приставки к буквам, придающие им определенную гласность, долготу или краткость, путали меня всякий раз, то я лишь механически запоминал их. Тогда отец выбрал другой метод и, предварительно объяснив мне значение этих знаков, заставил выучить все буквы в трех слогах. Например, алиф забар а, алиф зер и — будет аи; алиф пеш — а аио; бе забар ба, бе зер би — баби, бе пеш бо — бабибо; дал забар да, дал зер ди — дади, дал пеш до — дадидо; те забар та, те зер ти — тати, те пеш то — татито...

Это понравилось мне, и я охотно взялся учить эти забавные сочетания на каждую букву алфавита и, сидя на корточках, положив перед собою на подушку написанный отцом на листе бумаги алфавит, я напевал:

— Ре забар ра, ре зар ри — рари, ре пеш ро — Ра-риро; хаб забар ха, хаб зер хи, хахихаб пеш хо — ха-хихо.

Алиманна, сидевшая за рукодельем, прыснула и, не сдержав давно душившего ее смеха, повалилась и начала неудержимо хохотать. Когда она, вдоволь нахохотавшись, наконец успокоилась, отец ей сделал выговор и в

наказание тоже посадил ее рядом со мной учиться, и велел мне научить ее по всем ранее пройденным мною урокам. Протесты Алиманны не повлияли на настойчивость отца, и она в слезах села со мной учить уроки.

Способная девочка за короткое время догнала меня и впоследствии отцом была поощрена за усердие. В часы досуга мы ради забавы учили, как прибавление а, и, о [180] к каждой согласной образует какие-то бессмысленные три слога, и, произнося их, мы смеялись, хватаясь за животы. Наше учение превращалось в развлечение. Через неделю отец дал нам урок по словообразованию путем соединения или слияния, как он объяснял, этих трех гласных сначала с одной согласной, а потом с двумя:

— Алифты теге алиф забар — ат (ат по-казахски лошадь).

— Алифты теге алиф зерар — ет (мясо).

— Алифты теге алиф пеш — от (огонь).

Это нас заинтересовало больше, так как, соединяя буквы, мы получали какие-то слова, правда не всегда слова, а чаще всего слоги отдельных слов и, желая скорее постичь искусство полного словообразования, мы с Алиманной за неделю выучили заданный нам урок «скрещивания» гласных с согласными. Отец похвалил нас и задал нам уроки на полное словообразование, начиная опять с несложных простых слов:

— Кабты теге кабзар — кет (уходи).

— Хабты теге хап забар — хат (письмо). — Бени реге бе забар — бар (иди).

Однажды отец привез древесный уголь толщиной в палец, аккуратно отточил его конец ножом и велел мне принести лист чистой бумаги. Когда я подал ему бумагу, он положил ее на поднос, разгладил на ровной поверхности и осторожно начал выводить крупные буквы арабского алфавита. Мы смотрели на каллиграфические упражнения отца, затаив дыхание. Когда отец кончил писать вторую строку, он велел нам прочесть написанное:

— Алиф забар — А, лям зер — ли, — начала читать Алиманна, — али, мим забар — ма, Алима.

Не дочитав до конца, она захлопала в ладоши, затараторила:

— Ой, это мое имя написано, мое имя, мое имя! Вторую строку читал я.

— Бе забар — Ба, — тут я запнулся, — как дальше у соединить с р?

А Алиманна, воспользовавшись моим замешательством, придвинулась еще ближе и начала читать:

— Бе забар — Ба, ууды реге уау зер ер бауер, джумды нунга джум забар жан — Баурджан, — торжественно [181] закончила она. Я, сконфуженный, сердито посмотрел на сестру, и она, как бы желая сгладить свою вину, попросила отца написать еще одно имя, чтобы я прочел его самостоятельно. Отец написал, я прочел.

— Алифты кабка алиф забар — Ак, каб каб пеш — ку акку, лям зер ли — Аккулы.

При произнесении мной этого имени, отец вздрогнул, как бы обращаясь к Аккулы, взволнованно произнес:

— Да сопутствуют тебе, Аккулы, добрые духи. Твое место невосполнимо пустует в нашем роде. Царство тебе: небесное.

Тут он, приняв серьезную позу, прочел по Аккулы короткую молитву. Такой конец нашего урока испортил нам радость, испытанную при первом чтении нами своих собственных имен. Отец, заметив это, спохватился, но поздно. И, наставляя нас на самостоятельное учение уроков, как бы извиняясь перед нами, добавил:

— О памяти усопших, дети мои, забывать не полагается...

Я описал специально некоторые подробности моего начального образования для того, чтобы было понятно, какая примитивщина существовала у казахов не только в ведении хозяйства, но и в обучении грамоте.

* * *

Выпал первый снег. Дядя привез отрез сукна, несколько аршин белой материи. Мне сшили пальто и белье. Убианна прислала мне лисью шапку. Я в новом одеянии ходил по соседним домам. Все осматривали и хвалили мою одежду...

Однажды дядя привел рыжебородого старика и с почтением обращался к нему не иначе как «молда еке». Старик подозвал меня и, похвалив, насыпал в мою горсть изюма. Он был со мной чрезмерно ласков. Дядя был необыкновенно внимателен ко мне и хвалил меня перед стариком. Я принимал все это как должное, только не понимал слов старика, как бы с упреком говорившего дяде:

— Надо было немного пораньше, чуть перерос парнишка.

— Ничего, молда-еке, вот брат все время жалел, а ведь дальше нельзя, молда-еке. Сделайте нам одолжение, [182] пожалуйста, — как бы оправдываясь, отвечал дядя. Отец почему-то не появлялся в доме. В очаге готовилось угощение для гостя.

Дядя постелил на пол одеяло, положил подушку и, аккуратно заправив приготовленную постель, предложил мне раздеться. На мой недоумевающий вопрос он ответил, что мне надо немного отдохнуть, пока на дворе слякоть, и что, пока он будет беседовать с молда-еке, я должен немного поспать. Когда я лег, «молда-еке» зажег кусок синей тряпки. От ее едкого дыма я отвернулся и вдруг почувствовал: старик раскрывает у моих ног одеяло и руками вытягивает мне ноги. Я в ужасе хотел поднять голову, но дядя прижал мои плечи к подушке.

— Ничего, ничего, — успокаивал он меня, — молда-еке хочет посмотреть, все ли у тебя в порядке. — Мне в плену этих двух злодеев ничего не оставалось, как повторять за стариком бессмысленные слова о том, что был я неверным, а теперь стану правоверным. И вдруг я почувствовал жгучую боль, от которой вскрикнул и хотел вырваться. Но дядя навалился на мои плечи, а старик прижал мне ноги. От боли я продолжал орать, а они все продолжали давить меня, посыпая рану пеплом сожженной синей тряпки и, перевязав, оба отошли в сторону, говоря мне, что обрезание по закону правоверных мусульман совершено, что я отныне мусульманин, что меня они больше не тронут и чтобы я только лежал спокойно...

Подали на дастархан кушанье. Пришли гости, пришел отец, поздоровался со всеми, а они его поздравили с обращением сына в правоверные. Больше на меня не обращали внимания, ели, вели беседу, а старик рассказывал, как он совершал подобные злодеяния над другими мальчиками. Все смеялись. Видимо, при этих рассказах каждый вспоминал свою мальчишескую участь. Мне, конечно, было не до смеха. Это было первое насилие, совершенное надо мной и торжественно отмеченное в моем же родном доме.

Я бы упустил этот краткий раздел своих воспоминаний, если бы этот дикий обряд не ушел в область предания и если бы он не имел отношения к моему дальнейшему учению. Как я после узнал, мой будущий учитель категорически отказался учить необрезанного мальчика, так как это перечит законам мусульман, и отец мой согласился [183] на эту операцию, от которой воздерживался столько лет, жалея меня.

Когда я окончательно поправился, приехал Аюбай. Он был в новом лисьем тумаке. На нем была дубленая шуба с шалевым воротником из черного барашка. Борта и подол новой шубы были на ширину ладони обшиты черным бархатом. Аюбай привез свой обычный подарок — пачку чаю и фунт сахару, как он это делал всегда, когда приезжал к нам. Он стал подкручивать усы и одеваться чище и аккуратнее прежнего. На следующее утро после чая дядя оседлал мне коня и объявил, что л поеду в аул Аюбая, тот меня отдаст мулле, и я буду жить у Убианны. Отец благословил меня, наставляя, чтобы я хорошо учился. Мы с Аюбаем, провожаемые всей нашей семьей, выехали в путь.

За ночь выпал снег. Небо было хмурым. Стоял безветренный день. По дороге наши лошади прокладывали первые следы. Когда мы отъехали от нашего аула километра четыре и пересекли один из глубоких оврагов на нашем пути, Аюбай вдруг рванул вперед и поскакал в сторону от дороги, негромко крича: «Тюльке, тюльке! Лиса, лиса!» Действительно, отчетливо выделяясь на снегу, вдали от нас бежала лисица. Я кинулся за Аюбаем и вскоре догнал его. Он, обернувшись, крикнул: «Придержи своего коня, ты все равно не собьешь тюльке!» Говоря это, он на полном скаку возился у левого шенкеля. «Не торопись, она все равно по такому глубокому снегу от нас не уйдет!» — кричал Аюбай, а его конь продолжал скакать во весь опор. Вдруг Аюбай выпрямился в седле. Его левая нога свисла, и я, поравнявшись с ним, увидел в его руках стремя с путалищем. Расстояние между нами и бежавшей по снегу лисицей все сокращалось и сокращалось, когда лисица повернула в сторону оврага, чуть приотставший Аюбай крикнул:

— Скачи наперерез! В овраге, наверное, у нее нора...

Я, нахлестывая коня, рванулся в сторону, куда теперь бежала лиса, и, громко крича, поскакал, не разбираясь, напрямик. Когда до лисицы оставалось шагов сто, я проскочил через какой-то бугорок и перерезал бежавшей лисице путь к оврагу. Она круто повернула и побежала назад, прыгая, как заяц, в глубоком снегу. Подоспевший Аюбай догнал лису, размахнулся путалищем с тяжелым стременем на конце и, не попав в лисицу, проскочил [184] мимо, качнулся, видимо, оттого, что у него с одной стороны не было стремени, но все же удержался в седле. Лисица, юркнув из-под его коня, снова повернула в сторону оврага. Я бросился вдогонку и снова перерезал ей путь. Аюбай опять перескочил через лису, не задев ее. Загнанный зверь барахтался в снегу, кидаясь из стороны в сторону, и наконец, выбившись из сил, остановился, оскалив зубы на своих преследователей. Когда мы подъехали к лисе, она, сидя на снегу, щелкала зубами, злобно сверкала глазами, вертела головой, визжала, словно протестуя против приближающейся смерти. Аюбай, не сходя с коня, размахнулся, и железное стремя ударило по голове зверя. Лиса повалилась. Аюбай нагнувшись, поднял ее за хвост и приторочил к седлу. Возбужденные скачкой и азартом погони, мы повернули на дорогу.

Это было первое мое участие в охоте и первый случай в моей жизни, когда я был участником преследования и свидетелем убийства живого живым...

Дом Аюбая был новым и просторным. Он строил свой новый дом по образцу русских, с печкой, и изнутри выбелил белой глиной. Убианна встретила меня хорошо, как всегда, заботливо развязала мой кушак, усадила меня на почетное место, на ходу задавая вопросы о здоровье всех наших. Пришел дед Майлибай, пришли его другие сыновья и снохи, все справлялись о здоровье наших. Аюбай рассказал им про нашу охоту, отдавая должное мне; все хвалили меня за то, что я не растерялся. Когда Аюбай предложил деду свою добычу, тот осмотрел лису, любуясь, погладил мех сухими руками, а потом своим булькающим старческим голосом сказал:

— Пусть эта лиса будет у того, кто впервые охотился — и, обращаясь ко мне, добавил: — На, светик мой, она твоя, а я в жизни много видел этих лис, дай бог, чтобы ты дожил до моего возраста...

Его старший сын Жартыбай взялся обработать мех. После еды Майлибай и его сыновья и снохи ушли.

— Хорошо, что наш дед подарил тюльке Баурджану, — сказала Убианна мужу, вернувшемуся со двора после вечерних хлопот со скотом. — Когда поведешь его к мулле, пусть он подарит мех своему учителю.

Немногословный Аюбай одобрил это предложение жены. Убианна, уложив меня в постель, села возле меня [185] и расспрашивала про отца, про мачеху, как растет Алиманна, как она занимается рукоделием, как ведет себя дядя... Отвечая на ее многочисленные вопросы, я, уставший за дорогу, вскоре заснул крепким сном.

* * *

Была пятница. Утром пришел маленький, юркий, с глазами навыкате, со вздернутым носиком мальчик Дюмшебай — один из внуков Майлибая. Он в этот день не ходил в школу по случаю пятницы — праздничного дня у магометан. Убианна угостила нас сытным завтраком и попросила Дюмшебая рассказать мне про школу, куда я приехал учиться.

— Наш мулла, — начал было Дюмшебай, но тут влетела его маленькая сестренка и, запинаясь на каждом слове, затарахтела:

— Дюмшебай, приехала наша бабушка, пойдем скорее, пойдем!

Дюмшебай сорвался с места и побежал. Оказывается, действительно приехала их бабушка с материнской стороны, от которой Дюмшебай не отходил целый день, и наша беседа с ним не состоялась.

* * *

Духовным наставником рода Байтана был ташкентский ишан Сейд-Акбар, старший брат того рыжебородого хаджи, что венчал Убианну с Аюбаем. Из разговоров Аюбая с Убианной я узнал, что мулла, к которому меня должен повести Аюбай, приходится сыном ишану Сейд-Акбару. Эта весть меня немного встревожила, так как в то время об ишанах ходило много легенд, как о чудотворцах и святых. Мне самому ни разу не приходилось видеть человека в таком духовном сане, но я слышал много рассказов взрослых об одаренности ишанов каким-то сверхчеловеческим духом, об их «святости». Даже в намеках запрещалось говорить что-либо нелестное в их

адрес. Говаривали, что ишаны, сидя у себя дома, видят всех и слышат всех, что для них нет никаких тайн. Отец мне рассказывал, что когда моя мать заболела нервным расстройством, и, по его выражению, душу ее задели злые духи, и когда он, после безуспешных [186] попыток вылечить ее у аульных знахарей, повез ее в Аулие-Ата к ишану, то моя мать, переступив порог дома ишана, вела себя необычайно спокойно. Ишан оставил ее у себя и предложил отцу приехать за ней через полтора месяца. А когда отец приехал за матерью, ишан показал ему совершенно здоровую маму, и они оба, щедро отблагодарив ишана, с радостью поехали домой. Мать по дороге сообщила отцу, что ишан обращался с нею хорошо, следил, чтобы она постоянно была занята вышиванием или какой-нибудь другой работой.

Этот случай из маминой биографии и другие рассказы взрослых в моем детском сознании возводили ишана в сан обожествленного, и это было подкреплено изучением биографии Магомета по книге, подаренной моему отцу Жаримбетом-хаджи ***(лицо, совершившее паломничество в Мекку).*** Я был маленьким фанатиком. Меня немного тревожило и пугало то, что я теперь буду учиться у сына ишана. Я робел перед наследником святого человека, к которому Аюбай должен был меня отвести. После долгих раздумий я поделился с сестрой своими переживаниями.

— Что ж, другие мальчики тоже ходят к нему учиться, — сказала Убианна, — разве ты хуже их?

Ее слова задели мое самолюбие, и я повторял их: «Разве другие мальчики лучше?» Взяв себя в руки, я отогнал мучившую меня робость и решил пойти учиться к сыну ишана. Но все же во мне продолжал жить фанатик, и мне казалось, что сын ишана видел меня, когда я с Аюбаем гнался за лисицей, видит и теперь и знает, что мех от этой лисицы, по решению Убианны, предназначается ему.

День таких переживаний не прошел даром. Ночью я спал тревожно. Рано утром, одевшись как можно аккуратнее, с кораном под мышкой, я шел за Аюбаем.

Школа помещалась в ауле Калдыбая, старшего брата Майлибая. Зимовка Калдыбая была в одном километре от аула Майлибая у Шинг-булака — Овражистого ручья. Трудолюбивый дед вывел множество арыков и на большом участке посадил много деревьев, и теперь потомки пожинали плоды его трудов. Зимовка была окружена высокими деревьями. Глинобитные хаты были разбросаны по всей этой громадной усадьбе. Величественный [187] вид усадьбы и высоких деревьев, скрывающих за своими толстыми стволами разбросанные повсюду домишки, на меня произвели впечатление города. Мы подошли к большой кибитке с верандой и двумя окнами и тут услышали хор учеников, нараспев читавших коран. Меня снова охватила робость, и я беспомощно смотрел на широкую спину шедшего впереди Любая. Он подошел к украшенной резьбой двери из некрашеного дерева и, обернувшись, позвал меня и открыл дверь. Галдеж учеников сразу прекратился.

— Салям алейкум, таксыр, — приложив руку к сердцу, приветствовал Аюбай муллу. Я за ним машинально повторил все то, что он проделывал, здороваясь с муллой.

Посреди просторной комнаты на возвышении восседал молодой узбек в цветастой тюбетейке, со сросщимися бровями. На его худом лице выдавался очень острый и тонкий нос. Черные усики, подстриженные под ноздрями, спускались по краям тонких губ. Полосатый халат висел на худых плечах. Волосатая грудь, как у всех узбеков того времени, была открыта: узбеки носили рубашки с вырезными воротниками.

Перед муллой на большой подушке лежал раскрытый коран. За его спиной к стене была приставлена пара длинных лоз. Вдоль стен на циновках сидели мальчики на корточках с раскрытыми книгами и с любопытством смотрели на меня.

Мулла подал кончик руки Аюбаю, а потом мне, безразлично посмотрев на нас своими желтыми бараньими глазами и, обращаясь к мальчикам, тонким голосом произнес: «Азат». Видимо, это было сигналом на перерыв. Мальчики тут же встали и вышли из комнаты.

Ак:бай взял меня за руку и обратился к мулле со словами:

— Таксыр мулла еке, привел я к вам своего шурина. Его зовут Баурджаном. Недавно совершено обрезание. Отец его, мой тесть, мулла Момыш, просил вас научить его сына чтению святых книг пророка...

— Яхши, — произнес тот по-узбекски.

— Вот, мулла еке, он. Его вам вручаю, — продолжал Аюбай и, потянув меня за руку поближе к мулле, добавил: — Мясо его ваше, а кость наша. [188]

Так он заключил свою речь традиционными словами, означающими, что мулла с этого момента распоряжается мною со всей полнотой власти. Это означало, что мулла должен был меня учить, имел право меня бить, но без перелома костей.

— Яхши, — снова безразлично пропищал мулла. Аюбай положил перед ним деньги — первый взнос за учение — и сообщил, что дома у него обрабатывается лисий мех, и как только мех будет готов, он сам принесет его мулле.

— Яхши, — еще раз повторил мулла и, осмотрев мой коран, указал мне место на циновке с правой стороны. Аюбай, посадив меня на отведенное место, наставлял, прощаясь, чтобы я вел себя примерно и делал все так, как велит мулла. Я смотрел на широкую спину уходившего Аюбая, теряя свою последнюю надежду на защиту. Вошли ученики и, приложив руки к сердцу, произносили: «Адэп, таксыр», спрашивая тем самым у муллы разрешения занять места на циновках. А мулла с безразличием кивал им головой в знак разрешения. Все мальчики заняли свои места, раскрыли книги, но любопытство брало верх, и они, тихонько подталкивая друг друга локтями, смотрели на меня. Я сидел растерянный и чувствовал себя как в клетке, и, надо полагать, у меня вид был весьма глупый. Мулла, осмотрев аудиторию, вдруг сорвался с места с криком:

— Эй, бачаляр, что же вы не учите уроки?

Все дети, согнувшись, невпопад начали читать вслух. Комната наполнилась гулом, но мулла не ограничился окриком, схватил одну из лоз и со злостью начал бить всех подряд, а ученики, подставив свои спины, продолжали читать вслух. Когда мулла обошел первый ряд, у него в руке от длинной лозы остался лишь ничтожный конец. Он со злостью швырнул обломок, взял вторую лозу и начал ею хлестать наш ряд. Последним он ударил меня. Я почувствовал боль между лопатками и очень оскорбился, сознавая свою непричастность к тому, что другие мальчики не сразу приступили к чтению. Обозленный, я открыл коран и начал мычать что-то, подпевая своему соседу, голос которого яснее других слышался в этом галдеже.

Мулла сел на свое место, отдышался и позвал к себе [189] Дюмшебая. Тот подошел с раскрытой книгой, опустился на колени.

— Читай, — приказал мулла. По этому сигналу все остальные ученики замолчали, а Дюмшебай дрожащим от страха голосом начал читать суре корана. Когда он кончил читать, мулла строго спросил его:

— Что ты делал вчера?

— К нам бабушка приехала... Я... я, мулла-еке, — стал было оправдываться перепуганный мальчик.

— На тебе, «мулла-еке», на тебе!..

Мулла с этими словами размахнулся и дал парнишке две звонких пощечины. Дюмшебай качнулся и заплакал.

— Не сметь плакать! — заорал мулла и ударил мальчика ногой. Мальчик упал и, защищаясь, сквозь слезы, лепетал: «Простите, таксыр, больше не буду»...

Мулла приказал Дюмшебаю взять коран и идти на свое место, а остальные ученики снова забормотали урок. Мулла сидел на своем месте, перелистывая коран. Ученики загалдели с еще большим усердием. У меня начала кружиться голова от этого нестройного хора. Вдруг мулла окликнул самого взрослого ученика:

— Эй, Дуненбай!

Тот встал с места и, сложив руки, ответил мулле: «Ляпбай, таксыр (Слушаю, господин)». Ученики притихли.

— Вот что, иди и срежь пару крепких лоз, — приказал мулла Дуненбаю.

— Хоп, таксыр, — поклонился Дуненбай и направился к двери, а ученики снова заголосили нараспев.

Один мальчик с узенькими глазками встал со своего места и, сложив руки на груди, обратился к мулле:

— Адэп, таксыр?

— Чего тебе? — строго спросил мулла.

— На двор, таксыр, — ответил мальчик, кивая головой в сторону двери.

— А что тебе надо на дворе?

— Писать мне, таксыр, — жалобно промычал мальчик. Видимо, его ни дома, ни здесь не учили иносказательному, и он говорил по-простонародному, называя отправление надобностей своим собственным именем.

— Не лопнешь, — ответил мулла и на просящий взгляд мальчика крикнул: [190] — Сядь, тебе говорят!

Бедный мальчик сел.

Вошел Дуненбай и, положив перед муллой две крепких лозы, отошел на свое место. Мулла поочередно пробовал лозы, размахивая ими в воздухе, а ученики начали еще быстрее произносить слова из корана. Приставив лозы к стене, мулла вышел во двор. Один из мальчиков на цыпочках бросился к двери, как только она прикрылась за муллой, и, прильнув к ее щелочке, сказал остальным:

— Пошел к оврагу.

Ученики перестали читать, а узкоглазый мальчик юркнул в дверь. Ему вслед кто-то крикнул:

— Ты, Абиш, стой там и следи за муллой.

— Тише, ученики, — сказал курносый мальчик в малахае, обращаясь ко всем. — Вот что я вам скажу. — Тут он подмигнул Дуненбаю и почти шепотом продолжал: — Давайте-ка, ребята, подрежем незаметненько лозы насечкой, и, когда мулла будет нас снова бить, они сломаются!

— Ты что, муллу обманывать хочешь? — возразил один, но на него обрушились все с угрозами:

— Ишь ты, какой честный нашелся?!

— Мы тебя после урока сами отлупим хорошенько, коль у тебя спина чешется...

— Не беспокойся, мы для тебя толстую лозу специально заготовим, так что попляшешь у нас...

Ученик побледнел и, насупившись, опустил глаза в книгу.

Дуненбай вынул из кармана нож и быстро начал подрезать лозы через каждые пятнадцать-двадцать сантиметров, делая это так ловко, что кора казалась не поврежденной. Закончив работу, он поставил лозы на прежнее место. Вбежал Абиш.

— Идет, идет, — шептал он, садясь на свое место. Остальные тоже бросились по местам и громко загалдели, чтобы идущий мулла убедился, как усердно его ученики читают коран. Мулла вошел, важно сел на свое место, перевернул несколько листов, громко крикнул:

— Эй, вы. Обратите слух ко мне...

Все притихли.

— Откройте следующую страницу, — приказал мулла и, когда все открыли, начал читать нараспев, выводя [191] каждую гласную, растягивая каждый слог. Кончив чтение непонятного нам суре корана на арабском языке, он велел всем повторять слова за ним. Он читал, а мы хором повторяли. Это было проделано дважды. Потом мулла велел к завтрашнему дню все прочитанное выучить и, погладив свои висячие усики, наконец произнес: «Азат». Все ученики бросились к двери.

Я просидел без перерыва три или четыре часа. Так началось мое учение у сына ишана. Не стану описывать дальнейшие подробности этого дня, лишь скажу, что когда мы с Дюмшебаем шли обратно, он рассказывал, что все то, что сегодня произошло, — это обычное явление в «школе», это повторяется изо дня в день, и просил меня держать в тайне от его родственников то, чему я был свидетелем. Я обещал.

Убианне, встретившей меня после первого моего урока с распростертыми объятиями, после ужина я рассказал, что мулла бьет учеников, и выразил свою обиду на это. Она сначала забеспокоилась, а потом начала меня утешать, что, мол, на это не следует обижаться, что мулла учит святым словам корана, а то место на теле, к которому прикоснулась, причинив боль, палка муллы, на том свете не будет чувствовать боли от огня. Тут вмешался Аюбай:

— Лишь бы мулла научил тебя произносить слова святой молитвы по душам предков, — говорил он, — тогда все обиды, все побои будут отплачены. Учись, учись, не будь таким темным, как я, не умеющим промолвить ни единого слова молитвы даже во имя спасения души своей...

И я учился у этого муллы целых два месяца, зубря отдельные суре корана, не понимая ни их значения, ни смысла.

Трогателен один факт, которого я не могу забыть до сих пор. Однажды вечером Убианна, укладывая меня спать, положила мне под голову коран, говоря, что за ночь содержание суре, которое я так и не смог выучить наизусть, за что получил от муллы два удара палкой по спине, перейдет мне в память, и я, ни разу не запнувшись, прочитаю его мулле наизусть. Утром она, отправляя меня в школу, надела на меня под пальто меховую куртку и на мой вопрос, зачем одевать куртку, если и так тепло, ответила: [192]

— Если сегодня мулла снова побьет тебя, то пусть он колотит эту шубенку, все-таки тебе будет не так больно от ударов его палки...

Разумеется, за ночь у меня в памяти ничего не прибавилось, а мулла все-таки побил всех нас, и моя шубенка пригодилась как нельзя более кстати; я почти не чувствовал боли от ударов палки...

За месяц я соскучился по родному дому, и Аюбай обещал выхлопотать у муллы отпуск на несколько дней. Я с нетерпением его ждал.

У Убианны росла замечательная дочка Катира, первый ребенок в семье. Она была очень забавная, пыталась что-то говорить, но у нее еще ничего не получалось. Все майлибаевцы забавлялись с девочкой, которой недавно исполнился год. Вечером Аюбай ставил ее на ножки на свои огромные ладони и приговаривая «каз, каз», держал ее в воздухе. Девочка улыбалась, стоя на ладони отца, и размахивала ручонками. Убианна в ужасе бросалась к мужу, называя его сумасшедшим, но Аюбай продолжал свою забаву с дочерью, отстраняя жену.

Когда я однажды вернулся вечером из школы, Катира лежала в кроватке. У нее все личико было красное и в волдырях. Девочка задыхалась. За оплывшими веками не было видно прекрасных глазенок, которые привлекали всех.

Я спросил сестру, что случилось.

- Заболела... не знаю... — в слезах ответила она.

Отец и мать в тревоге не отходили от девочки. Заполночь я задремал, и вдруг меня затормошил Аюбай с тревогой в голосе:

— Баурджан, Баурджан, вставай, встань! Прочти отходную... Катира уходит...

Я вскочил с постели и побежал к детской кроватке. Девочка уже не дышала. Мы все заплакали... Не знаю, сколько прошло времени, но я опомнился лишь тогда, когда вошел в шубе дед Майлибай, и Убианна бросилась к нему, задыхаясь от слез:

— Ата, атаа-а-а... Катира умерлааа... ааа...

Старик подошел к детской кроватке, взял мертвого ребенка на руки, как бы нянча его, сел на пол и, качая его, произнес:

— Что же ты, младенец, решила покинуть своего деда?

Что он говорил дальше — я не расслышал. Немного [193] успокоившись, он положил ребенка на место и сказал рыдающим родителям: «Успокойтесь, дети мои, на то, видно, воля божья. Вы еще молоды, даст бог, не последний у вас ребенок». Сказав это, он подошел к кроватке Катиры, вынул из кармана большой платок и накрыл ей лицо.

С рассветом пришли все майлибаевцы, и каждый из них оплакивал смерть общей любимицы Катары.

Как выяснилось после, накануне девочку начало лихорадить. На лице, вокруг рта, появилась сыпь. Родители понесли дочку к знахарке, тучной и глупой старухе, и та окурила ребенка ртутными парами.

В связи со смертью Катары я два дня не ходил в школу. На третьи сутки Аюбай оседлал мне коня и, сказав: «Пусть ее второй дед узнает о смерти своей внучки», — отправил меня домой, велев вернуться обратно через три дня. Я приехал домой в мрачном настроении, рассказал отцу все от начала до конца. На следующее утро отец объявил мне о своем решении не посылать меня к мулле. На этом закончилась моя учеба в «мусульманской духовной семинарии».

Остаток зимы, весну и все лето отец сам учил меня. К осени я свободно читал по-арабски, по слогам читал по-русски, но смысла ни того, ни другого не понимал; решал простые арифметические задачи.

В этот год Гончаровы опять ортачили с нами. Год был удачным. Все в нашем ауле были здоровы. Скот, нагулявшись на сочной траве, резвился на полях. Урожай хлебов был небывало хорошим.

Как-то приехал верхом Кузьма Гончаров. Вместе с отцом объехал поля. Не слезая с лошади, сорвал несколько колосьев, потер их в грубых своих ладонях, пересыпая с ладони на ладонь, подул, чтобы отделить шелуху, и долго рассматривал крупные зерна, пробовал их на зуб.

— Якши, Момыш, якши, — говорил он, так как кроме этих слов, видимо, не знал других. Дальше старик начал объясняться мимикой и жестами, из чего мой отец, не знающий русского языка, понял, что пшеница вполне созрела, и Кузьма после базарного дня приедет [194] со всей семьей на уборку. Отец к этому времени должен, как это было условлено, приготовить барана. Отец ему ответил единственным русским словом, которое он знал и произносил по-своему: — Хараша, Кузьма, хараша.

Действительно, через неделю Гончаровы приехали на своих бричках, к которым были прикреплены пароконная лобогрейка и одноконные грабли. У нашей зимовки было выбрано место для тока. Расчистив ровную площадку, женщины залили ее водой. Мы с Василием помогали им, таскали воду из ручья. Взрослые сыновья Гончарова в это время налаживали инвентарь: кто лобогрейку, кто грабли, кто каменные катки, а старик с моим дядей ладил хомуты, шлеи и постромки. Отец ремонтировал ручные деревянные грабли. К вечеру все приготовления были закончены. Тишко и Василь поехали с нами в аул за обещанным бараном. Когда мы прибыли в аул, с пастбища возвращались отары и стада, вокруг аула носились табуны коней.

Я помогал женщинам подводить к ведрам овец, придерживал рвущегося к матке ягненка, пока она доилась, отпускал ягненка, отвязывал очередного. Василь тоже помогал женщинам, проделывал то же самое. Телята и ягнята, уткнувшись мордочками в вымя маток, высасывали остатки молока, после чего, довольные, отходили в сторону и мирно пощипывали траву. Перед сумерками отец велел Тишко выбрать любого барана.

Василь изъявил желание остаться у нас, но Тишко ему не разрешил, уговаривая поехать с ним на ток. Отец упросил Тишко оставить Василя у нас на ночь.

— Ну, Василь, ты сегодня наш кунак, — сказал ему отец, указывая на почетное место, — вот сядь здесь, у нас кунаки тут сидят.

Василь смущенно принял приглашение. Начался наш семейный ужин с молодым кунаком. Мы угощали Василя кумысом, баурсаками, а затем бесбармаком. Пришел соседский мальчик, который пригласил меня на игру «ак суек», и отец велел мне идти с Василем.

Стояла темная тихая ночь. Аульные ребята были в сборе. Началась игра. Сущность ее заключалась в следующем: брали белую голенную кость быка, и один из взрослых, размахнувшись, кидал ее. В тот же момент все дети бросались в ту сторону, куда она полетела, и на [195] черной земле искали белеющую кость. Тот, кто находил,

бросался бежать, остальные — вдогонку за ним. Догнавший старался отобрать кость, первый не давал, и тут завязывалась борьба. Все наваливались гурьбой на того, у кого находилась кость. Он прятал ее куда только мог. Кость переходила из рук в руки. Овладевший ею вырывался и бежал, остальные догоняли, сваливали его, и опять продолжалась борьба за обладание костью. Наконец кому-нибудь удавалось вырваться из этой свалки и добежать до того места, где стоял кинувший кость во тьму, и передать ему свою добычу. Игра повторялась снова. «Белая кость» — это своеобразный детский кок-пар ночью. В этой игре у детей вырабатывались ориентировка, сноровка в схватках и бег. Наигравшись вдоволь, усталые, мы расходились по юртам.

Василю эта игра очень понравилась, и он несколько раз был лидером ее. В одном из поисков завязалась драка между ним и одним нашим мальчиком. Я заступился за своего гостя и рознял их. Оказалось, что поводом для ссоры была хитрость Василя: он нашел кость и побежал, а догнавшему его сунул в руку белый камень. Тот, почувствовав обман, возмущенный нечестностью Василя, кинулся в драку...

С тех пор как Василь погостил у нас, между нами завязалась крепкая дружба. Он, видимо, рассказал своим родным, как был принят в ауле, как мы играли ночью, как я заступился за него, потому что на следующий день я почувствовал особое внимание семьи Гончаровых к себе: каждый из них старался называть меня по имени — кто Бажан, кто Бардан или Буржан и Баржан вместо прежней клички «киргизенок». Василь поправлял их, правильно произнося мое имя. Его мать, добрая старуха, которую мы все звали мамашей, еще смешнее искажала мое имя, называя меня Буроур-жаном.

Началась косовица хлеба: на одном участке — лобогрейкой, на другом — вручную. Применение лобогрейки и кос для нас было новостью, так как мы раньше жали серпами.

На женщин и на меня с Василем была возложена подготовка тока. Немного подсохшую после вчерашней поливки землю трамбовали сначала вручную, а потом, после посыпки площадки мелкой соломой, мы с [196] Василем впрягали коней и утрамбовывали ток катками — ездили по кругу один за другим. Женщины после наших нескольких заездов убирали солому, поливали землю водой, снова сыпали солому, а мы опять ездили по кругу, волоча каменные катки. К обеду работа закончилась, с площадки вымели солому, и ток заблестел.

Два дня подряд продолжалась косьба, а третий и четвертый дни ушли на то, чтобы свезти скошенное с поля на ток. На току выросли три громадные скирды. На пятый день началась молотьба. Со скирд на ток вилами сбрасывали пшеницу, мы с Василем заезжали с одного края, направляя своих коней по кругу. Сначала мы ехали по вороху разбросанной пшеницы, тяжелые катки, которые мы волочили за собой, придавливали солому. Следом за нами взрослые вилами ворошили солому, женщины охапками относили солому с тока. Молотьба продолжалась три дня. Привезли ручную веялку, за два дня пропустили ворох через нее, и на току выросла целая гора крупного чистого зерна.

В честь окончания работ зарезали барана. Под вечер приступили к дележу. Уборка и дележ не вызвали каких-либо споров, и Гончаровы со своей долей, довольные, уехали к себе в деревню. На прощание они пригласили нас приехать в следующее воскресенье в гости.

В воскресенье утром из Евгеньевки доносился в наш аул звон колоколов деревенской церквушки. Отец и дядя разрешили мне поехать с ними на базар. Из дальних аулов мимо нашей зимовки ехали верховые, гнали коров, лошадей, баранов. К одной из таких групп дядя присоединил четырех баранов из нашей отары, предназначенных на продажу.

Одевшись по-праздничному, мы поехали. По дороге, догнав нескольких всадников, отец и дядя поздоровались с ними. Путники пожелали друг другу удачного базара.

В то время базар был для казахов не только местом обмена, покупки и продажи, но и общественным местом, где встречались знакомые, велись деловые разговоры.

Базар был расположен на том месте, невдалеке от станции Бурное, где в голодные годы дядя попытался заняться торговлей. На громадной вытоптанной площади [197] собиралось множество людей, животных, повозок — сюда приезжали из всех русских деревень и казахских аулов трех волостей. На одной из окраин площади мы, забутовав своих коней, влились в людскую толпу. Поток людей, как ледоход при заторе, кружился и растекался в беспорядке в разные стороны. Площадь была разбита на участки, на одном из которых узбеки-лоточники на постланных на полу скатертях разложили галантерейные товары. Они сидели в два ряда, громко приглашая покупателей. За ними тянулся ряд фруктовых лавчонок на больших узбекских арбах, хозяева которых наперебой расхваливали свой товар. Еще дальше торговали арбузами и дынями. Позади этих рядов стояли русские повозки с овощами. В стороне был отведен участок для продажи зерна, а за ним — участки для продаваемого скота:

баранов, коров, лошадей. Народу было так много, что казалось, базарная площадь стонала под тяжестью такой людской массы. Отец не отпускал меня от себя, боясь, что я могу заблудиться, но потом, когда я немного осмотрелся, разрешил ходить по базару самостоятельно, вложив мне в руки несколько монет. Я с любопытством бродил по базару, разглядывая ряды. Когда я с изумленными глазами проходил мимо русского ряда, кто-то схватил меня сзади и закрыл мне глаза руками. Это был Василь, который, увидев меня, подкрался и так пошутил...

— Пойдем, — потянул он меня за руку, — там мои батько и мамо сидят.

Действительно, на краю ряда стояла их повозка, нагруженная арбузами, а разодетая хозяйка Гончарова, в нескольких широких юбках из цветастой материи, сидела на краю повозки и торговала. Она, занятая своими покупателями, не обратила на нас внимания, а Василь, подведя меня под тень повозки, усадил на дерюге и угостил арбузом. Возле другой повозки на земле сидели несколько мужиков и распивали водку, а на другой стороне стояли разодетые девушки в ярких платках, а перед ними — парень в новом картузе, вышитой косоворотке и сапогах, пахнущих дегтем. С гармошкой в руках, он хорохорился перед девушками, говорил им что-то, а те смеялись, кокетничали. К ним подошли еще два разодетых парня, и гармонист заиграл. Девушки пустились в пляс. Проделав круг, они останавливались перед [198] кавалерами и топали ногами, вызывая их. Гармонист все играл и играл. Это веселье привлекло много народу, и собравшиеся зеваки загородили плясунов от нас.

Мы с Василем пошли по бакалейным рядам, и один узбек уговорил купить у него пару конфет длиною с карандаш, завернутых в цветную бумагу. Мои монеты перешли в руки узбека. Посасывая конфеты, мы пошли бродить по базару. Встретился Аюбай, спросил, где отец, уговаривал меня ехать к нему, но Василь ответил, что мы приглашены к ним в гости. Аюбай купил нам фунт сушеного урюка и велел передать привет нашим, потом он затерялся в толкучке...

После полудня сутолока стала редеть. Я, распрощавшись с Василем, пробивался в условленное место для встречи с отцом, вдруг кто-то бросил клич, требуя внимания. Утеп, наш знакомый еще по церемонии венчания Убианны с Аюбаем, ехал в сопровождении двух всадников между рядами и, поднимаясь на стременах, рифмуя слова, громко объявил собравшимся, что у одного из сопровождающих его (с ним он песенно знакомил всех) в прошлую субботу пропал конь. Так же песенно он перечислял приметы коня, пел, что хозяин просит увидевших потерявшегося коня сообщить ему за вознаграждение. Сопровождавший его, как бы подтверждая слова Утепа, ехал рядом и кивал головой. Оказывается, Утеп свои поэтические способности применял и на поприще глашатая. Во втором заезде об объявил, что через неделю один из сопровождавших его устраивает поминки по своему отцу и приглашает на них всех желающих.

Как видите, базар был и местом для объявлений... Сделав покупки, мы поехали в Евгеньевку к Гончаровым. До этого я не бывал в русских деревнях, видел их лишь издали. По дороге мы обгоняли возвращавшихся с базара евгеньевцев, ехавших на повозках и шедших пешком. Вся дорога пестрела от разодетых в цветастые платья женщин, мужчин в картузах и вышитых косоворотках. Двое мужиков вели под руки пьяного, без шапки, со взъерошенным чубом, растрепанного. Он сопротивлялся, не мог передвигать ноги и во все горло орал на своих спутников, видимо, бранился, потому что девушки при его словах шарахались в сторону. В нем мои дядя узнал «бузык-Ивана» — хулигана Ивана. Последний, увидев нас, вырвался и с бранью метнул в нашу сторону [199] комок земли, который угодил по крупу дядиного коня. Дядя повернул коня и хотел было броситься на «бузык-Ивана», но отец прикрикнул на него и приказал не ввязываться в ссору с пьяным. «Бузык-Иван» метнул второй комок земли и, бранясь, пригрозил нам кулаком. Оказывается, они с дядей были давнишними врагами.

— Я этого подлеца еще раньше лупил плеткой, когда он был объездчиком, а теперь, слава богу, равные...

— Брось болтать, — прервал его отец, — не для драки, думаю, предоставлено равенство...

— А если задевает, что ему спускать? — горячился дядя.

— Момыш, здравствуй! — крикнул с телеги, мимо которой мы проезжали, пожилой мужик в соломенной шляпе.

— А, Тимошка, аман, аман ***(здорово),*** — ответил отец и спросил, почему он остановился.

— Да этого дурака хочу подвезти, — ответил старик, как бы извиняясь за своего односельчанина, и добавил: — Беда с ним, каждый базар напьется и хулиганит.

— Дядя Тимофей, — орал в это время пьяный, — лови Момынкула, я ему башку свер-р-ну.

— Ну, езжайте, — сказал Тимофей нам, махнув рукой в сторону пьяного.

Мы тронули коней и, сопровождаемые бранью «бузык-Ивана», поехали...

По склону холма, за которым возвышалась гора Ала-Тау, тянулась прямая и широкая улица. Чисто побеленные крестьянские хаты скрывались за высокими тополями, росшими вдоль арыков в два ряда. Казалось, мы едем по широкой аллее тополевой рощи. Каждая усадьба была обнесена плетеной изгородью, въезд во двор обозначен подмостком из камня или деревянным настилом. Белые хаты с соломенными крышами и с надворными постройками показались мне дворцами по сравнению с нашими приземистыми кибитками, разбросанными у каждого ручья. Улица была полна людей в праздничных одеждах, они шли группами, пели песни, в некоторых группах плясали под игру чубастого гармониста.

Мы трусили на конях по деревенской улице. На третьем квартале я узнал у бревенчатой арки нашего знакомого — Тишко. Он поманил нас рукой. Мы заехали во двор Гончаровых. Двор, большой и чисто выметенный, был окружен глинобитными надворными постройками с соломенными крышами. Посреди двора возвышалась деревянная надстройка колодца с журавлем. Сыновья Гончарова увели наших коней в конюшни. Кузьма со старухой пригласили нас войти в дом. В чисто выбеленной хате с земляным полом, с большой русской печью стояла широкая деревянная кровать, накрытая самодельным одеялом, высокий сундук, стол под белой холщовой скатертью, пара скамеек и несколько табуреток. У печки висело длинное льняное полотенце. Я, как только вошел, сразу увидел иконы, висящие в углу. Впервые, с нескрываемым любопытством смотрел я на них. Металлические рамки образов были начищены до блеска. Из рамки выглядывал бог-отец с седой бородой и, казалось, он смотрел на меня. Справа от бога-отца висело изображение богоматери с младенцем на руках. Слева — Иисус Христос. Все это завершалось внизу выпуклым изображением распятия, под которым горела тоненькая восковая свеча. Иконы окаймлялись живыми цветами...

Мое любопытство, видимо, было до того заметно, что отец счел необходимым разъяснить мне:

— Это изображения русских богов, — начал он, — этим картинам они молятся. Старик, что с белой бородой, — бог-отец, а вот эта красивая женщина — мать Иса-пайгамбара ***(Иисус-пророк),*** которого она держит на руках. А вот и сам Иса-пайгамбар, а внизу изображено, как его распяли иудеи... — Потом, немного подумав он добавил: — Конечно, русские стоят на неверном пути, поклоняясь рисункам, что они сами нарисовали. Бог создал человека, а не человек бога, — заключил он свои разъяснения.

Пока отец говорил с Кузьмой о каких-то делах, я не мог оторвать глаз от русских икон. Стол был накрыт, большой пузатый самовар шипел на краю стола, хозяйка полотенцем перетирала чашки. Молодые женщины, Манька и Санька, раскладывали ножи и вилки, резали [200] хлеб, вносили вареный картофель, пироги. И наконец внесли чугун, окутанный паром.

Гончаровы перекрестились перед иконами и сели за стол. Старуха начала разливать чай. Старик, что-то говоря и жестом показывая на стол, обратился к моему отцу. Тишко его слова перевел так:

— Он говорит, что на столе нет ничего из свинины. Вот хлеб, сахар, вот картошка, фрукты, в чугуне птичье мясо. Так что Момыш может, как хороший знакомый, кушать все. Старый Кузьма не подведет...

После перевода Тишко хозяйка засмеялась.

— О чем они говорят, Тишко? — спросил дядя.

— Да они говорят, что Момынкул недоверчиво смотрит на них, — ответил отец и предложил нам закусывать.

Обед прошел дружно и весело. Василь поманил меня глазами во двор. С разрешения отца я вышел.

— Хочешь, покажу тебе все, что у нас есть? — спросил меня Василь.

Он подвел меня к колодцу, открыл крышку. Я нагнулся и посмотрел вниз. Стены колодца были выложены камнем, а на дне сверкала темная зеркальная поверхность воды. Василь, подпрыгнув, схватил конец висевшего на «журавле» длинного шеста с крюком, прицепил за крюк ведро и показал мне, как нужно вытаскивать воду из колодца с помощью «журавля». Вода была чистая и холодная. Потом он повел меня в конюшню, в амбар,

показал маленький садик и огород. Эта экскурсия произвела на меня глубокое впечатление: хозяйство Гончаровых показалось мне образцовым по сравнению с нашим примитивным двором и загоном. Когда я попросил показать мне деревянную церковь, Василь заколебался, а потом ответил:

— Ладно, как-нибудь в следующий раз, а сегодня нельзя...

* * *

После осенних дождей землю сковали заморозки. Дул обычный в здешних местах западный ветер, который летом поднимает пыль, осенью пронизывает насквозь своим холодом, а зимою метет сугробы. Видимо, поэтому наша станция и носит название Бурное. [202] Однажды вечером отец серьезно говорил со мной об учении.

— Вот если бы тебя отдать в учение русскому мулле! — говорил он мне. — Думаю, что там детей учат практически, как надо применять знания в жизни, а не как наши муллы, которые сами вызубрили только несколько глав из корана. Там тебя научат считать, писать и читать. Среди русских ребят, у русского муллы научишься русскому языку и будешь свободно общаться со всем, народом, что населяет наш край, и никто — ни русский, ни казах — тебя обижать не будет...

Дядя, поддакивая отцу, высказал, однако, сомнение: позволительно ли правоверного мальчика отдать в учение мулле неверных русских? Ведь русский мулла не будет учить законам мусульманским, и сородичи будут осуждать моего отца за то, что он отдал своего единственного сына к русскому мулле...

— Давай не будем обращать внимания на это, — сказал отец своему брату. — Ведь предки святого пророка тоже были неверными, а наш Баурджан, слава богу, кое-что знает и не станет, думаю, вероотступником из-за того, что получит знания у русского муллы, который учит детей лучше, чем наш, и не бьет детей, как наши самодуры... Да и новые порядки призывают, чтобы детей учили по-новому, во всяком случае, не по корану...

На возражения дяди он привел в пример Садыка.

— Разве народ его не уважает? Он со всеми может поговорить, и с русскими он говорит не хуже, чем с нами, дело знает, умный человек: сам пишет, сам читает на двух языках...

Весь вечер прошел в спорах о моем предстоящем учении, и братья пришли к выводу, что меня надо отдать в школу «к русскому мулле». На следующий день дядя съездил в Евгеньевку. Вернулся к вечеру. За ужином он сказал отцу, что я буду жить у Гончаровых, что «русский мулла» согласился учить меня за плату — пуд муки, пуд крупы, пуд гороху, а за учебные пособия — бумагу и карандаши — одного барана. А Гончаровы отказались от какой-либо платы, но предупредили, что у них нет в запасе ни баранины, ни говядины, и дядя им обещал привезти одного барана.

Утром мы собрались с дядей в путь. Приторочив к [203] седлу одеяло и подушку, мы поехали. По дороге встретился один из наших земляков и на слова дяди, что он везет меня в русскую школу, покачал головой.

— Значит, крестить везешь. Ай-ай, как нехорошо, какое нехорошее время пошло, коль такой разумный человек, как Момыш, своего единственного сына в русскую школу отдает. Кто же по нему молитву будет читать, когда он умрет? — крикнул он вслед нам, придерживая коня. Дальше дядя ехал молча, а когда проезжали мимо мусульманского кладбища, он на ходу прошептал молитву по душам покойников, потом, погладив усы, посмотрел на меня и сказал:

— Нет, Баурджан, тот прав. Поехали домой. Будешь расти, как и твои остальные сверстники, в ауле, — и повернул коня. Я последовал за ним...

Этот случай отложил мое учение на целых два месяца. Дядя настойчиво возражал против моего обучения в русской школе и требовал, чтобы я вернулся в аул Аю-бая продолжать учиться у мусульманского муллы, но против этого были отец и я.

В тот год зима была необычайно сурова. Выпал глубокий снег, держать скот на подножном корму было невозможно, поэтому часть скота дядя отогнал за Кара-Тау, под присмотр наших родственников, где зима была всегда сравнительно мягкой. Запас кормов быстро уменьшался, топлива — тоже. Пришлось для скота и для очага ввести жесткий минимум, чтобы прожить эту суровую зиму. Корм скоту выдавался строго по норме, а печь топили только для приготовления пищи. Зима была весьма тревожной для скотоводов. Дядя часто ездил к скоту,

который находился на отгоне, и обычно возвращался из своей поездки мрачным. После одной из поездок он рассказывал, как купил стог сена у одного русского, проживающего в этом районе, в деревне Головачевке, как, отдав ему задаток, сам поехал на базар продавать скот, чтобы выплатить остальную сумму, и когда вернулся с деньгами через три дня, русский продал этот стог сена другому, по более дорогой цене. Возмущенный таким поступком, дядя поднял скандал, и дело кончилось дракой. Обоих забрали в участковую милицию, продержали сутки. Допрашивал его работник милиции, не владевший казахским языком. Дядя не мог объяснить ни сути дела, ни своей правоты.

— Я этому начальнику говорю, что этот подлец брал [204] у меня задаток, значит, стог мой. Отдав его другому, он нарушил свое слово... А начальник разводит руками и говорит мне: «бельмей» ***(не знаю (искаженное),*** потом что-то бормочет по-своему, я ему тоже отвечаю, что не понимаю его, так же, как он меня. До сих пор обидно! — горячился дядя.

— Ну ладно, хватит переживать, — успокаивал его отец. — Благодари бога, что тебе еще бока не наломали и начальник не посадил тебя в тюрьму за дебош, который ты там поднял.

— Меня сажать? — недоумевал дядя. — За что? Ведь я же сдержал свое слово...

Этот случай, видимо, был одной из главных причин, вырвавших у дяди согласие на мое учение в русской школе. Но он открыто не выражал этого, а лишь ходил мрачный, переживал случившееся, часто называл себя глухонемым.

Особенно переживал он свою неудачу, когда кормил скот, разбрасывая ему скудные порции сена, а на жалобное мычание коров, которые как бы просили добавочного корма, говорил:

— Больше нельзя. Понимаете, что больше нельзя! Когда корова подходила ближе, обнюхивала рукава, как бы умоляя о дополнительном корме, дядя гладил ее морду и успокаивающе говорил:

— Ну, ладно, бедняжка, больше не могу, а вот настанет весна, вырастет сочная трава, тогда и наешься вдоволь, а пока довольствуйся тем, что тебе дали. Как-нибудь до весны дотяни...

Голодное животное лениво отходило и начинало щипать сухие былинки, оставшиеся кое-где на земле.

Подул западный ветер, кругом замело. Почти неделю носилась по полям вьюга. Общение между соседями прекратилось. Только дядя, укутавшись в шубу, выходил из дому, чтобы кормить и поить скот или сходить за водой к ручью. Он возвращался весь в снегу и долго отряхивался в углу.

— Фу, кругом замело, даже соседский дом не видать, — говорил он, — прямо взбесилось все...

Мы сидели, завернутые в шубы, и коротали время от еды до еды за рассказами и сказками... [205]

* * *

Дядя привез меня к Гончаровым. У них было тепло. По улице бежали ребята с сумками и кидали друг в друга снежки. Среди них я увидел Василя. Он, дав отбой своему «противнику», побежал домой. Увидев меня, Василь радостно воскликнул:

— А, Баурджан приехал! — и, схватив меня за руку, потащил в хату. — Пойдем, чего ты тут стоишь?

... В сопровождении Василя и Тишко мы с дядей направились к «русскому мулле». «Муллой» оказалась высокая, худощавая, пожилая женщина с гладкой прической, открытым лбом, большими серыми глазами и острым, чуть крючковатым носом. Когда мы вошли, она месила тесто. Тишко представил нас. Разговор был коротким. Она посмотрела на меня и по-русски задала мне несколько вопросов, на которые я не ответил. Потом обменялась несколькими словами с Тишко, который нам после перевел ее слова:

— Она говорит: очень плохо, что Баржан не знает русского языка. Как она его будет учить, когда сама не знает по-казахски?

— Если бы Баурджан знал русский язык, зачем бы нам его приводить сюда? — ответил дядя.

Учительница засмеялась и сказала:

— Ну ладно, коли они его хотят учить по-русски, пусть оставляют. Посмотрим, может быть, получится…

И, обращаясь к Василю, она спросила: — А ты будешь ему помогать?

— Буду, — ответил Василь.

Дядя, наказав мне хорошо вести себя, быть усердным и осторожным — не есть свинины, не молиться русскому богу, — пожелав успеха, уехал домой.

Хозяйка определила мне место: показала, на каком табурете я буду сидеть, а спать — вместе с Василем, на печке. Чуть призадумалась и спросила меня:

— У тебя «баранов» много?

Не понимая ее вопроса, я назвал количество наших баранов. Она засмеялась, вынула из-за пазухи мнимого насекомого и начала «давить» его, говоря:

— Вот такой «баран» есть у тебя? Сконфуженный и обиженный, я тут же содрал с себя рубашку и протянул ее старухе. Она осмотрела внимательно [206] швы и, не обнаружив ничего, вернула рубашку мне, как бы извиняясь за свой вопрос, пошлепала меня по голой спине и разрешила одеваться. Одеваясь, я не смог преодолеть обиды и заплакал. Старик начал ругать свою старуху, а остальные Гончаровы тоже напали на нее, упрекая в невежливости. Бедная хозяйка оправдывалась... Видимо, желая утешить меня, она заставила тут же раздеться и Василя, и все, несмотря на его брыкание, начали осматривать его белье. Я никак не мог успокоиться, и все старались сгладить нанесенную мне обиду.

Вечером после ужина Василь учил свои уроки, а Тишко открыл мой букварь и начал мне объяснять алфавит. Я знал этот алфавит, но только так, как учил меня отец: для меня между «б» и «в» между «к», «г» и «х» между «с» и «ц», между «е», «и» и «й» никакой разницы не существовало. Первые я произносил как «б», вторые — как «к», третьи — как «с», четвертые — как «и». О «ь», «ы» и «ъ» вообще не имел никакого представления. Братья долго, до поздней ночи, сидели со мной, объясняя, но мне это давалось очень туго.

— Вот скажи: Василий.

— Басиль, — говорил я.

— Да нет, не Басиль, а Василий, — повторял Тишко, — понимаешь В, Ва...

— Бесиль, — отвечал я и спрашивал: — Так ли?

— Нет, не так опять произносишь. Не бе, а ва, Ва-си-лий. Понимаешь?

Они приводили множество примеров, где были перемешаны русские и казахские слова, где встречались эти «премудрые» буквы, но я понимал все же с трудом.

Так начался мой первый урок русского языка.

* * *

Василь забрался на печку и позвал меня. Там было очень тепло. Одеяло, которое я привез, было из верблюжьей шерсти, толстое, двухспальное, а Василь до этого накрывался своей тужуркой и тоненьким байковым одеялом.

— Ну что, — сказал он, — твое постелим, а моим будем одеваться? Здесь очень тепло.

Я согласился. [207]

От непривычки ли спать в тепле, или от новой обстановки, или от дум о предстоящем учении у русской учительницы мне долго не спалось. Я вертелся с боку на бок, а Василь спал непробудным сном. Мне было

душно, я откинул одеяло, которым мы накрывались, и лежал с открытыми глазами. Я думал о том, что я здесь задыхаюсь от жары, а там, у нас дома в холодной комнате, спят под толстыми одеялами. Приходила одна мысль за другою, воспоминания за воспоминаниями, пока наконец у меня все не перепуталось, и я заснул, словно в бреду.

Утром меня тормошил Василь. Сквозь сон я слышал его голос:

— Баурджан, тур, тур, вставай, в школу пора...

Я бормотал что-то и отталкивал его. А когда ему надоело возиться со мной, он стащил меня за ноги с печки, и, только очутившись на полу, я проснулся. Я сидел в нижнем белье и спросонья тер глаза.

— Да тормоши его, еще вин не проснувся, вот це киргизенок, — засмеялась звонко Санька. — Вин як у себя в кибитке веде себя. Тилько що з него штаны задрати, може тогда вин проснется...

— Чого вона, мамка, регочет над ним? — сердился Василь, — хиба ему не хочется просыпаться, вин просто заспався.

— Як ты хочешь, Василь, а с цього киргизенка у вашей учителки ничего не выйдэ, як вы ни учите, так вин киргизенком и останется.

Многих слов этой злоязычной женщины я, разумеется, не понимал, а о смысле догадывался по интонации ее голоса. Когда я окончательно проснулся и оделся, по жестам и интонациям также почувствовал, что старуха и Василь были за меня и в чем-то упрекали Саньку, а та бойко огрызалась и доказывала что-то им. Старуха топнула ногой и приказала снохе замолчать. Та покорно выполнила требование своей свекрови.

Хозяйка нас накормила завтраком, положила в наши сумки по бублику, подвела Василя к углу, где висели иконы, перекрестилась сама и заставила его тоже перекреститься, поцеловала его в лоб, а потом, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну что же, Бурбуржан, хоть ты и бусурманский дитенок, да благослови тебя бог, — и погладила меня по голове. — Якши надо учиться, Бурбуржан, хорошо надо [208] учиться, — этим она закончила свое напутственное слово. Потом наказала своему сыну, чтобы он не оставлял меня без присмотра и не давал в обиду русским ребятам... Мы с Василем побежали в школу. Когда вышли из дома, со всех дворов шли ребята с сумками. Одних мы перегоняли, другие присоединялись к нам, но, как правило, все рассматривали меня и спрашивали Василя:

— Що це за киргизенок, куда ты его ведешь, Василь?

— Вин сын нашего знакомого, Момыша. С нами буде учиться, — отвечал Василь.

— Хиба вин по-русски розумие?

— Трохи розумие, а после научится, и побачимо... — серьезно отвечал Василь.

— А вин букварь знае? Чи ни?

— Тоже трохи знае.

— Як у него с русской мовою?

— Як тебе учила наша учителка? — обрушился на него Василь. — Як вона тебе учила? Хиба «мова», а не язык...

— А як тебе училы, Василь, — прервал его другой, — не «хиба», а ежели, али, як вона поправляла Миколу Водопьянова, «если». Вот як вона велела на уроке говорить!

— А вин Василь, де будэ жить? — прервал его другой мальчик.

— У менэ, со мной будэ жить, — ответил Василь.

В это время раздался звон колокольчика, и все ребята кинулись бежать к школе. Подслеповатый старик в шапке с вытертым мехом, в старенькой тужурочке стоял у крыльца и бренчал колокольчиком...

В класс я вошел последним. Ученики раздевались, вешали свои тужурочки и шапки на вешалку. Следуя их примеру, я тоже разделся и свой халат и шапку повесил на самый крайний гвоздь. Вошла учительница. Все ученики встали со своих мест. Она поздоровалась. Ученики ответили хором, но невпопад: «Здравствуйте, Мария Ивановна»! Учительница стала перед висевшей на стене черной доской. На ней было длинное черное платье с белым воротником и широким поясом из черного бархата. Она посмотрела на всех учеников, как будто пересчитывая присутствующих, и ее взгляд встретился с моим. [209]

— Подойди сюда, мальчик, — позвала она меня. Я подошел к ней. — Вот что, ученики, — обратилась она к остальным, — этот киргизский мальчик будет учиться у нас. Вы его не обижайте, он один среди вас. Относитесь к нему, как к своему. Он сын знакомого наших Гончаровых.

— Да вин трохи понимае по-русски, — за меня ответил Василь.

— Ну хорошо, значит, будем учиться, — сказала она и указала мне на свободное место рядом с синеглазой девочкой с бантиками в косичках.

Когда я сел, моя новая соседка посмотрела на меня и отодвинулась.

Начался урок. Учительница села, открыла букварь, вызвала к доске мою соседку, и та начала отвечать заданные на дом уроки. Впервые я видел, как мелом пишут на черной доске крупные буквы. Написав несколько несложных слов, девочка стерла написанное и вернулась на свое место. Затем мальчик проделал то же самое, но он допустил несколько ошибок, которые были исправлены учительницей... Разумеется, я не понимал тогда многих слов, что писали мои новые товарищи.

Наша школа находилась против деревенской церквушки, которая давно возбуждала мое любопытство звоном своих колоколов. Церковь, выстроенная из обыкновенного кирпича-сырца, была с большими сводчатыми окнами, с крыльцом, с деревянной лестницей. Над железной крышей возвышался купол, завершенный большим крестом. Рядом с церковью стоял поповский дом с надворными постройками. Церковная площадь была величиной в два-три усадебных надела. Церковь возвышалась над остальными деревенскими домами. Во время перерыва между уроками ученики резвились на прицерковной площадке.

На втором уроке учительница дала задание ученикам, вызвала меня к столу, посадила возле себя, открыла букварь и начала мне объяснять.

— Вин знае букварь, — сказал Василь.

Учительница спросила меня. Я ей назвал весь алфавит. Она меня поправляла, говорила, как нужно правильно произносить. «Ве, ка, ха, це, ша, ша, че, ю», — повторила учительница те буквы, которые я произнес неверно, [210] и заставила меня повторить. Потом она аккуратно переписала эти буквы и сказала:

— Вот, выучи их, а писать и читать будем потом.

Затем открыла страницу букваря, прочла вслух медленно несколько предложений, разъяснила их смысл, еще раз прочла все и велела всем ученикам самим прочесть про себя.

Третий урок — арифметика — прошел более живо. В начале урока она спросила, все ли решили заданную накануне задачу. Ученики хором ответили, что решили все. Учительница написала на доске задачу и спросила:

— У всех так написано?

— Да, — ответили хором.

Она проверила тетради, внесла исправления и показала решение на доске. Потом учительница объяснила новую задачу и дала задание на дом. Задачников у учеников не было. Пока они переписывали с доски задание в свои тетради, учительница подошла ко мне, села рядом и аккуратно вписала в мою тетрадь цифры до десяти.

— Один — бир, два — еки, три — уш, четыре — торт, начала она мне объяснять с переводом. Когда она заставила повторить цифры, я без запинки прочел все написанное по-русски, так как счет по-русски я знал до ста. Учительница воскликнула:

— Вот молодец, оказывается, ты знаешь!

Ученики посмотрели в мою сторону, а учительница, как бы отвечая им, сказала.

— Да, он знает цифры по-русски.

Ободренный ее похвалой, я просчитал по-русски до двадцати.

— Хорошо, — одобрительно сказала она, — но только не «дбанасат», а двенадцать, тринадцать, не «шешнасат», а шестнадцать, не «дебатнасат», а девятнадцать. Понял? — спросила она и дала Василю задание научить меня правильно произносить цифры.

Так начался и кончился первый день моего учения в русской школе.

С помощью Гончаровых я учился неплохо. Вся семья, кроме старика Кузьмы и хозяйки, которые сами были неграмотными, шефствовала надо мной. По арифметике я преуспевал, хотя последовательно решение задач в тетради не записывал. Я решал в уме и записывал в тетрадь сразу ответ. Это доставляло много хлопот учительнице: [211] каждый раз нужно было объяснять мне ход действий. Незнание мною языка, естественно, делало ее объяснения непонятными, но она каждый раз терпеливо повторяла. Букварь я читал и кое-что переписывал в тетрадь. Многие слова мне были непонятны. Запоминал я их механически, не понимая значения, так как мои шефы и переводчики искусством перевода книжных слов не владели...

С каждым днем я все теснее сближался с русскими ребятами, моими школьными товарищами.

О том, как дальше складывалась моя жизнь, будет рассказано в следующей книге.